

Иоганн Вольфганг фон Гете

Страдания юного Вертера

Перевод с немецкого Романа Эйвадиса

Книга первая

С усердием и заботливостью собрал я все, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера, и предлагаю ныне на суд читателей, нисколько не сомневаясь в том, что примут они сию повесть с благодарностью. Ум и сердце моего героя не могут не вызывать в них любви и восхищения, а судьба — слез сострадания.

Те же, кому ведомы искушения и муки, выпавшие на долю бедного Вертера, да почерпнут утешение в печальной участи его, книжка же сия да заменит им друга, коль скоро не смогли они обрести одного по воле рока или по собственной вине.

4 мая 1771 г.

Как рад я, что уехал! Драгоценный друг мой, что за загадка — сердце человека! Оставить тебя, столь любимого мною, тебя, с кем был я неразлучен, — и радоваться! Ты простишь меня, я знаю. Ведь все иные мои привязанности словно нарочно посланы были мне судьбой, чтобы поселить в моем сердце страх и смятение. Бедняжка Леонора! Однако я не чувствую за собой вины. Разве виноват я в том, что пока своенравные прелести ее сестры доставляли мне приятное развлечение, в этом бедном сердце зарождалась страсть? И все же — так ли уж я безгрешен? Разве не питал я вольно или невольно хрупкие ростки ее чувства? Разве не находил для себя некую отраду в искренних проявлениях души, кои столь часто служат нам источником веселья, не заключая однако в себе ничего смешного? Разве не был я... О, что за создание — человек, коему дано судить самого себя! Но я исправлюсь, друг мой, непременно исправлюсь, обещаю тебе, что не стану более вновь и вновь пережевывать те мелкие огорчения и неприятности, что преподносит нам судьба, как поступал я прежде; я буду наслаждаться сегодняшним днем, вчерашний же пусть остается в прошлом. Ты прав, дорогой друг мой: страданий было б меньше среди людей, когда б они — Бог весть, отчего они так устроены! — не предавались с такою неутомимую силою воображения любимому своему занятию: воскрешению в памяти минувших бед и огорчений, вместо того чтобы жить отнюдь не менее значимым сегодняшним днем.

Сделай милость, передай моей матушке, что поручение ее выполнил я наилучшим образом и вскоре извещу ее обо всем подробно. Я поговорил с тетюшкой и не нашел в ней решительно ничего общего с той злой ведьмой, каковою прослыла она в нашем семейном кругу. Это весьма живая женщина, хотя и строгого нрава, но с необыкновенно добрым сердцем. Я изложил матушкины жалобы по поводу удерживаемой ею нашей доли наследства; она привела свои доводы и причины и назвала условия, при которых готова отдать все и даже более того, что нам причитается. Впрочем, не стану сейчас распространяться об этом предмете; скажи матушке, что все уладится к ее полному удовлетворению. Должен заметить, однако, друг мой, история сия лишней раз убедила меня в том, что недоразумения и косность, пожалуй, производят в мире больше неприятностей, нежели злоба и коварство. Во всяком случае, последние определенно встречаются в жизни реже.

Чувствую я себя здесь превосходно. Одиночество весьма благотворно действует на мою душу в сей райской местности, а весенняя пора, точно созданная для юности, обильно согревает мое зябкое сердце. Каждое дерево, каждый куст кажется букетом цветов, так что хочется, обратившись майским жуком, пуститься по волнам благовоний и пить нектар.

Город сам по себе неказист, зато окрестности полны невыразимой красоты. Сие обстоятельство побудило покойного графа М. разбить сад на одном из холмов, кои, причудливо пересекаясь друг с другом, сходясь и вновь расходясь, образуют восхитительнейшие долины. Сад незатейлив; входя в него, тотчас же замечаешь, что план его начертан был не рукою ученого садовника, но чувствительным сердцем, искавшим здесь уединения и покоя. Не раз, сидя в ветхой беседке, любимом прибежище усопшего, а ныне и моем прибежище, ронял я слезу, поминая прежнего хозяина. Вскоре я стану полноправным владельцем этих куш; садовник уже успел привязаться ко мне, и я постараюсь не разочаровать его.

10 мая

Душа моя полна света и радости, как эти лучезарные весенние утра, которыми наслаждаюсь я с неистовою жаждой. Я совсем один и радуюсь своей новой жизни в здешних краях, словно созданных для таких душ, как моя. Я так счастлив, друг мой, так упоен чувством мира и покоя, что даже искусство мое страдает от этого. Ибо я решительно не могу рисовать, не в силах сделать даже штриха, а вместе с тем никогда еще прежде не чувствовал я себя художником более искусным, нежели в эти мгновенья. Когда вокруг меня дымится туманом долина, а полуденное солнце недвижно висит над непроницаемым пологом темного леса и лишь редкие лучи украдкой просачиваются в его священный мрак; когда я, лежа в высокой траве у шумного ручья, впевив взор в густую, пеструю сеть, сотканную из бесконечного множества былинки, внимаю голосу этого крохотного мира, населяемого мириадами загадочных, непостижимых букашек, у самого моего сердца и чувствую присутствие Всемогущего, сотворившего нас по образу и

подобию Своему, дыхание Вселюбящего, несущего нас в Вечность на облаке нескончаемого блаженства, чувствую, как окружающий меня мир и небо покоятся в самой душе моей, словно образ возлюбленной, — тогда меня порою охватывает тоска, и я думаю: ах, если б мог я выразить все это, напечатлеть на бумаге то, что так полно, так горячо живет во мне, дабы образы эти сделались зеркалом моей души, подобно тому как душа моя есть зеркало предвечного Бога! Но, друг мой, бремя этого чувства, сладостное иго прекрасного слишком тяжело, оно грозит раздавить меня.

12 мая

Не знаю, кому или чему обязан я тем, что все вокруг представляется мне райскими кущами, — коварным духам ли, незримо витающим в сих краях, или собственной фантазии, распалюющей мое сердце. Есть в здешних окрестностях источник, к коему прикован я волшебными чарами, точно Мелюзина¹ со своими сестрами. Спустившись с небольшого холма, вдруг оказываешься ты перед сводами, под сенью которых лестница ступеней в двадцать ведет вниз, где из мраморной скалы бьет хрустальный ключ. Каменная ограда наверху, окаймляющая тенистую рожицу, прохлада — все это притягивает меня с неодолимою силою, точно некая сладостно-жуткая тайна. Я всякий день навещаю туда и провожу там час или более. Приходят из города девушки за водой — безобиднейшее и насущнейшее занятие, коего не чурались некогда и царские дочери. И сидя у источника, я столь остро чувствую патриархальную жизнь, столь живо воображаю, как праотцы наши сводили у колодца знакомство друг с другом, встречали здесь своих суженых, и словно слышу, как реют вокруг колодцев и источников добрые духи. О, понять мои чувства способен лишь тот, кому хоть однажды довелось после долгой, утомительной прогулки жарким днем наслаждаться прохладой лесного ключа.

13 мая

Ты спрашиваешь, не прислать ли мне мои книги. Заклинаю тебя, дорогой мой: избавь меня от сей напасти! Я не желаю более назиданий, ободрений, прищипываний, ибо сердце мое и без того кипит, не ведая покоя; мне надобна, напротив, колыбельная песнь, которую и нашел я здесь с преизбытком в моем Гомере. Как часто баюкаю я свою волнующуюся кровь! Более своевольного, более мятежного сердца не сыскать во всем свете. Дорогой мой, мне ли говорить это тебе, тому, кто так часто принужден был горестно взирать на мои перемены от печали к безудержному веселью, от сладостной меланхолии к губительной страсти? Вдобавок я еще и пестую свое взбалмошное сердечко словно больное дитя, беспрекословно исполняя

¹ Фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в святых источниках и реках. (Прим. переводчика)

все его капризы. Однако ж не передавай никому моих признаний; есть люди, которые сурово осудят меня за них.

15 мая

Простолюдины сего городишки уже знают и привечают меня, особенно детвора. Между тем сделал я одно печальное наблюдение: когда вначале своего пребывания здесь я заговаривал с ними, дружелюбно расспрашивая о том, о сем, некоторые из них думали, что я насмехаюсь над ними, и отвечали мне грубостью. Но это не оттолкнуло меня от них; я лишь отчетливее чувствовал то, что давно уже заметил: люди, принадлежащие к привилегированным сословиям, нарочито холодны с простым народом и стараются держаться от него подальше, словно опасаясь навредить себе близостью к низшему званию; впрочем, встречаются среди них ветреники и злые насмешники, будто бы снисходящие до бедняков, чтобы тем болезненнее выказать им свое высокомерие.

Я знаю, равенства меж нами нет и быть не может, однако же держусь того мнения, что человек, почитающий необходимым сторониться так называемой черни, дабы возвыситься в глазах окружающих, подобен трусу, бегущему от врага из страха перед поражением.

Недавно был я вновь у источника и повстречал там молоденькую служанку, поставившую свой кувшин на нижнюю ступеньку лестницы и поглядывавшую наверх в ожидании других девушек, которые помогли бы ей водрузить его на голову. Я спустился вниз и посмотрел на нее.

— Дозвольте помочь вам, сударыня, — молвил я ей.

— О нет, что вы, сударь! — отвечала она, зардевшись, как маков цвет.

— Ну же, без церемоний, — настаивал я.

Она поправила круглую подушечку на голове, и я поставил на нее кувшин. Поблагодарив, она стала подниматься наверх.

17 мая

Я свел множество знакомств, хотя и не вхож покамест ни в один дом. Не знаю, чем могу я быть столь привлекателен для окружающих: многим я тотчас прихожусь по нраву, они охотно составляют мне компанию, разделяя со мною часть пути, и мне грустно расставаться с ними, если пути наши скоро расходятся. Если спросишь ты, каковы люди в этом местечке, я должен буду ответить: как и в любом ином! С родом людским всюду дело обстоит одинаково. Большинство трудится не покладая рук, чтобы жить, те же крохи свободы, что остаются им, так пугают их, что они торопятся избавиться от них любыми способами. Вот удел человека!

Однако народец славный! Когда порою, забывшись, я разделяю с ними те немногие радости, что жизнь все же дарует человеку, — благочинное застолье, сдобренное простодушными, дружелюбными шутками, конную прогулку по окрестностям, танцы и тому подобные увеселения, — это

производит на меня весьма благотворное действие; главное не вспоминать в эти минуты о других силах, томящихся во мне и пропадающих втуне, которые принужден я усердно скрывать. Ах, как это теснит сердце! Увы, быть непонятым есть печальный жребий таких, как я.

О, зачем не стало подруги моей юности! Зачем только судьба свела меня с нею! Я сам говорю себе: глупец! ты ищешь то, чему нет места под луною! Но ведь была же она, я чувствовал это сердце, эту необыкновенную душу, пред которыми и сам я казался себе чем-то бóльшим, чем был в действительности, ибо я был всем, чем только мог быть. Боже праведный! Во мне поистине не оставалось в те дни ни единой силы, лежащей под спудом. Пред нею рождалось во мне во всей полноте своей то дивное чувство, что позволило мне объять сердцем весь мир. Встречи наши были благодатнейшею почвою, на которой непрестанно возрастали и распускались цветы тончайших ощущений, остроумнейших мыслей и шуток, и все эти проявления духа, равно как и множественные вариации их, отмечены были печатью гениальности. И вот, все исчезло! Она была старше меня годами и рано сошла во гроб. Никогда не забыть мне ее светлого ума и всепрощающей, ангельской кротости.

Несколько дней тому назад встретил я некоего Ф., открытого, приветливого юношу чрезвычайно приятной наружности. Он только что вышел из университета и, хотя не считает себя мудрецом, но полагает, что знает более других. Впрочем, на студенческой скамье был он, кажется, отменно усерден, что могу я заключить по многим признакам, словом имеет весьма недурные познания. Услыхав, что я рисую и владею греческим (явления, для здешних мест равные по значению падению метеоритов), поспешил он отрекомендоваться мне и усердно старался осчастливить собеседника сведениями из всех областей, от Баттё² до Вуда³, от Де Пиля⁴ до Винкельмана⁵, уверяя между прочим, что от начала до конца прочел первую часть теории Зульцера⁶ и что имеет вдобавок рукопись Гейне⁷ об изучении античности. Я не стал подвергать сомнению сии уверения.

Познакомился я еще с одним славным господином, княжьем амтманом⁸, человеком общительным и простодушным. Сказывают, будто его непременно надобно видеть в кругу его детей, коих у него девять; мол, сие есть на редкость отрадное зрелище. В особенности же, хвалят старшую дочь его. Он пригласил меня к себе, и я намерен посетить его в один из ближайших дней. Живет он в княжьем охотничьем замке, в полутора часах отсюда, куда позволено было ему переселиться после кончины его супруги,

² Шарль Батте (1713-1780) — французский эстетик, видный представитель классицизма. (Прим. переводчика)

³ Роберт Вуд (1716-1771) — шотландский археолог. (Прим. переводчика)

⁴ Роже де Пиль (1635-1709) — французский искусствовед и художник. (Прим. переводчика)

⁵ Иоганн Винкельман (1717-1768) — немецкий археолог, искусствовед, автор известного труда «История искусства древности». (Прим. переводчика)

⁶ Иоганн Зульцер (1720-1779) — немецко-швейцарский эстетик и философ. (Прим. переводчика)

⁷ Христиан Гейне (1729-1812) — профессор классической филологии в Геттингене. (Прим. переводчика)

⁸ (Нем. Amtmann) Уездный судья; управляющий. (Прим. переводчика)

так как пребывание в городе и в казенной квартире еще более усугубляли его скорбь.

Попадалось мне также с полдюжины юродствующих оригиналов, в коих все невыносимо, наипаче же — их дружба.

Прощай! Письмо мое придется тебе по вкусу, ибо имеет характер исключительно повествовательный.

22 мая

То, что жизнь человеческая есть всего лишь сон, замечали уже многие; вот и я неразлучен с этим ощущением. Когда я думаю об узилище, в коем заключены созидательные, творческие силы человека, когда вижу я, что все действие их сводится исключительно к удовлетворению потребностей, не имеющих иной цели, кроме как продлить наше жалкое существование, и что всякий покой, даруемый нам определенными плодами пытливого разума есть лишь грезы отчаяния, расписывающие стены нашей темницы яркими образами и светлыми далями — все это, дорогой мой Вильгельм, затворяет мои уста. Я возвращаюсь в себя и нахожу там иной мир! Опять же призрачный, рисуемый мне скорее смутным чувством и темною жаждою, нежели зримо-осязаемый и полный живой силы. И все расплывается перед внутренним моим взором, и я, улыбаясь, словно во сне, вновь обращаю его на мир здешний.

Все высокоученые школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не ведают природы своих желаний. Однако мало кто верит в то, что взрослые не далеко ушли от детей, что они столь же беспомощно блуждают в потемках и немногим более могут поведать о том, откуда пришли и куда идут, а поступки их столь же мало сообразуются с благими целями, и что управляют ими в той же мере посредством кнута и пряника. Мне же представляется, что истины более очевидной и не придумать.

Памятуя твое мнение на сей счет, осмелюсь доложить тебе: счастливы те из них, что подобно детям живут нынешним днем, возятся со своими куклами, наряжают и переодевают их, с большою опаскою и неменьшим вожделением ходят вокруг буфета, в коем матушка заперла сласти, а получив наконец желаемое, уплетают лакомства за обе щеки и требуют еще. Счастливые создания! Блаженны и те, кои жалкие, презренные занятия свои или, паче чаяния, страсти наделяют благозвучными именами и выдают оные за неслыханные подвиги во имя пользы и спасения человечества. Благо тому, кто может быть таким! Тот же, кто в смирении своем зрит тщету сих многообразных ухищрений; кто видит, как всякий довольный своим уделом бюргер посредством ножниц искусно обращает в рай свой садик и как невозмутимо влечет свое бремя, кряхтя и отдуваясь, несчастливец и все в равной мере желают продлить удовольствие видеть свет солнца хотя бы на одну лишь минуту, — тот безмолвствует и творит свой мир в себе самом и тоже счастлив тем, что он — человек. И как бы ни был он ограничен

обстоятельствами и условиями, он все ж питает в сердце своем сладостное чувство свободы и сознание того, что в любой миг может покинуть свою темницу.

26 мая

Ты знаешь мое свойство с легкостью приживаться на новом месте, мое умение найти приют где-нибудь в укромном уголке и жить, довольствуясь самым необходимым. Отыскал я такое местечко и здесь.

В часе пути от города, на живописном холме находится деревушка, называемая Вальгеймом⁹. Месторасположение ее весьма примечательно; поднявшись по тропе наверх, вдруг увидишь всю долину. Приветливая хозяйка, довольно ловкая и расторопная для своего возраста, угощает вином, пивом, кофе; более же всего радуют меня здесь две раскидистые липы, осеняющие густыми ветвями своими маленькую площадь перед церковью, вокруг которой теснятся крестьянские дома, сараи и дворы. Более уютного, более отрадного для глаз уголка не встречал я давно. Велев вынести под липы мой столик и стул, я пью кофе и читаю своего Гомера.

Когда я впервые случайно забрел сюда и очутился под липами, деревушка, объятая послеполуденной тишиною, казалась вымершей. Все трудились в поле; один лишь мальчуган лет четырех сидел на земле, прижимая к груди другого малыша, полугодовалого младенца, сидевшего у него между ног, служа ему как бы креслом. Тот, несмотря на живость своих черных глаз, сидел покойно. Я нашел сию картину весьма занятной и, присев на плуг, стоявший напротив, с превеликим удовольствием запечатлел сцену братских объятий. Затем присовокупил я к изображенному ближайшую ограду, ворота сарая и несколько сломанных тележных колес, все как было, без всяких прикрас и перемещений, и по прошествии часа обнаружил, что у меня вышел очень недурной, ладный и интересный рисунок, к которому не прибавил я решительно ничего от себя. Это утвердило меня в моем намерении держаться впредь только природы. Лишь натура, лишь природа бесконечно богата, лишь она одна создает великого художника. Можно многое сказать в защиту правил и законов искусства, приблизительно то же, что говорится в защиту общественных правил. Художник, воспитанный сообразно правилам, никогда не создаст ничего дурного и пошлого, подобно тому как человек, сложившийся под влиянием законов и правил благопристойности, никогда не станет несносным соседом или записным злодеем; однако ж, с другой стороны, что бы мне ни говорили, правила неминуемо убьют подлинное чувство природы и подлинную выразительность! Ты скажешь: «Чересчур категоричное сужденье! Они лишь ограждают, подрезывают своевольную лозу» и т.п. Друг мой, позволь мне прибегнуть к сравнению. Тут все обстоит так же, как с любовью. Вообрази юношу,

⁹ Читатель может не утруждать себя поисками названных здесь мест: мы почли за необходимость изменить встречающиеся в оригинале подлинные имена и названия.

питающего нежную привязанность к девушке, который проводит всякий день у ее ног, щедро расточает свои силы, ежеминутно выражая ей свою беззаветную преданность. И тут является некий филистер, человек, состоящий в статской службе и облеченный чинами, и говорит ему: «Милостивый государь! Любовь свойственна человеку, однако ж и любить должно по-человечески! Разделите ваши часы между трудом и досугом и посвящайте последний вашей избраннице. Считите ваше имение, и на то, что останется вам от расходов на насущные нужды, не возбраняется вам делать ей время от времени подарки, однако не часто, а лишь ко дню рождения, именинам и т.п.» Последует юноша доброму совету, выйдет из него толк, и я первый рекомендовал бы любому князю усадить его в одну из коллегий. Вот только с любовью его было бы покончено, а если он художник, то с живописью. О, друзья мои! Отчего гений столь редко вырывается на волю из плена своей брэнной оболочки, столь редко изливается бурным, сверкающим потоком, потрясая ваши смущенные души? Друзья мои, да оттого, что по обоим берегам сего потока живут невозмутимые господа, которых беседки, клумбы с тюльпанами и грядки с овощами погибли бы и которые посему заблаговременно возводят запруды и роют каналы, дабы отвлечь грозящую опасность.

27 мая

За своими восторгами, патетическими излияниями и сравнениями я забыл рассказать тебе, чем закончилась история с детьми. Погруженный в своих раздумьях о судьбах искусства, кои изложил я тебе в предыдущем послании довольно беспорядочно, просидел я на упомянутом плуге добрых два часа. Наконец под вечер явилась молодая женщина с корзинкою на руке, и, направляясь к малышам, которые во все время не двинулись с места, еще издали крикнула:

— Филипс! Ай да молодец!

Мы поздоровались, я встал, подошел ближе и осведомился, ее ли это дети. Она ответила утвердительно и, дав старшему кусок булки, взяла на руки младенца и расцеловала его со всею возможною материнскою нежностью.

— Я оставила Филипса с малышом, — сказала она, — а сама с старшим сыном пошла в город, купить белого хлеба, сахару и глиняную миску для каши. — Все это увидел я в ее корзинке, крышка которой откинулась. — Сварю Гансу (так звали младшего) вечером супчику. Мой старшенький, сорванец этакий, разбил вчера миску, не поделив с Филипсом корочки на дне.

Я спросил, где же старший, и едва она успела ответить, что он гоняет на лугу гусей, как тот прибежал вприпрыжку и вручил брату ореховый прутик. Продолжая беседовать с женщиной, я узнал, что она дочка деревенского учителя и что муж ее отправился в Швейцарию за наследством, оставшимся после смерти родственника.

— Они хотели обойти его, — пояснила она, — и не отвечали на его письма, вот он и поехал. Боюсь, как бы не случилась с ним какая-нибудь беда: нет от него никаких вестей.

Насилу распрощавшись с нею, я подарил каждому из мальчуганов по крейцеру, вручил матери монету и для маленького, наказав принести ему в следующий раз из города булку к супу. На том мы и расстались.

Скажу тебе, бесценный друг мой: когда чувства распирают мне грудь и рвутся наружу, нет лучшего средства усмирить сей бунт, нежели зрелище подобного существа, шествующего с счастливою невозмутимостью по узкому кругу своего бытия, терпеливо преодолевающего день за днем и при виде облетающей листвы ни о чем не помышляющего, кроме того, что она есть предвестник зимы.

С того дня я часто бываю там. Дети привыкли ко мне, я балую их сахаром, когда пью кофе, и делю с ними по вечерам свои бутерброды и простоквашу. По воскресным дням они неизменно получают свои крейцеры; если же меня нет после обедни, то монеты передает им по моему наказу хозяйка харчевни.

Они совершенно освоились со мною, доверчиво рассказывают мне обо всем на свете, особенно же меня забавляют их маленькие страсти и бурные проявления простодушных желаний, когда к ним присоединяются другие дети из деревни.

Немалых усилий стоило мне уверить их мать, что они вовсе не докучают мне своею дружбой.

30 мая

То, что я давеча говорил о живописи, несомненно, касается и поэзии; надобно лишь распознать совершенство и дерзнуть выразить его, однако ж этим немногим сказано многое. Сегодня случилось мне наблюдать сцену, которая, спиши ее с натуры в чистом виде, являла бы собою прекраснейшую идиллию. Но к чему все это? «Поэзия», «сцена», «идиллия»! Неужто всякий раз при виде замечательного явления жизни или природы нам непременно надобно хвататься за перо, ваяло или кисть?

Если за этим вступлением ты надеешься найти повествование о материях высоких и тонких, то вновь будешь жестоко обманут: речь пойдет всего лишь о простом крестьянском парне, вызвавшем во мне живейшее участие. Я по обыкновению окажусь никудышным рассказчиком, ты же, вероятно, по обыкновению сочтешь мой рассказ преувеличением; а источником сей удивительной истории вновь стал Вальгейм, все тот же загадочный Вальгейм.

Небольшая компания устроилась под липами пить кофе. Поскольку мне она была не совсем по душе, я под благовидным предлогом остался за своим столиком.

Из ближайшего дома вышел молодой крестьянин и занялся починкою плуга, который я несколько дней тому назад рисовал. Его наружность

располагала к себе, и я заговорил с ним, расспросил о его житье-бытье; мы познакомились и, как это часто бывает у меня с людьми такого склада, подружились. Он рассказал мне, что состоит в работниках у одной вдовы и что очень доволен своею хозяйкой. Из того, как много он о ней рассказывал и как усердно ее хвалил, скоро заключил я, что он предан ей душой и телом. Он уже не молода, сказал он, покойный муж сильно обижал ее, и потому она не желает больше выходить замуж; из рассказа же его отчетливо явствовало, как хороша она собою в его глазах, как желанна она ему, как он мечтает, чтобы она согласилась выйти за него, надеясь изгладить в ее памяти печальные воспоминания о первом замужестве. Мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы живописать тебе чистое, бескорыстное чувство этого парня, его любовь и верность. Да, мне понадобился бы величайший поэтический дар, чтобы вместе достоверно передать тебе и выразительность его жестов, гармонию его голоса, затаенный огонь в его глазах. Увы, словами не высказать той нежности, которая сквозила во всем его облике; что бы ни говорил я, все выходило бы неуклюже и пошло. Особенно тронули меня его опасения, что я могу превратно истолковать его отношение к ней и усомниться в ее добропорядочности. Мне ни за что не донести до тебя всей прелести его описаний наружности вдовы, ее стана, столь пленительного для него даже, несмотря на то, что он уже утратил былую гибкость и притягательность. Никогда еще не встречал я в своей жизни — и даже помыслить и вообразить себе не мог — столь жаркой страсти и столь жгучего вожделения в сочетании со столь удивительной чистотой. Не спешу бранить меня, если я скажу тебе, что при одном только воспоминании об этой целомудренности и искренности у меня горит душа и меня теперь повсюду преследует этот образ верности и любви и что я сам, точно воспламенившись от нее, томлюсь и изнываю от тоски.

Теперь мне хотелось бы поскорее увидеть и ее; а впрочем, по некотором размышлении, мне следовало бы, напротив, избежать встречи с нею. Лучше видеть ее влюбленными глазами этого парня, ибо своими глазами я, быть может, увижу ее совсем иною, нежели представляется она сейчас моему внутреннему взору; зачем же мне портить прекрасный образ?

16 июня

Отчего я не пишу тебе? И ты вопрошаешь меня о том, слывя ученым мужем? Ты мог бы и сам догадаться, что я здоров и всем доволен, и даже... словом — я свел одно знакомство, которое мне очень дорого. Сдается мне, что я... Право, не знаю...

Рассказывать тебе по порядку, как все случилось, как повстречал я это пленительнейшее создание, я решительно не в силах. Я весел и счастлив и, стало быть, не гожусь в историографы.

Сказать ли «ангел»? Тьфу! То же говорят и другие о своих возлюбленных, не правда ли? Однако я не в силах передать и изъяснить тебе

ее совершенство; довольно и того, что она завладела всеми моими чувствами и помыслами.

Какое поразительное сочетание простодушия и ума, доброты и твердости, душевного покоя и деятельной природы, живущей полною мерою!

Все, что я говорю о ней, — не более чем жалкая, гадкая болтовня, убогие абстракции, не отражающие ни единой черты ее существа. В другой раз — нет, не в другой, а непременно теперь, сейчас расскажу я тебе о ней все. Не сделаю я этого сию же минуту, значит не сделаю уж никогда. Ибо, между нами говоря, начав писать, я не раз порывался отложить перо, велеть оседлать моего коня и ускакать прочь. И хотя я поклялся себе утром не ездить туда нынче, я то и дело подхожу к окну, чтобы посмотреть, не клонится ли солнце к закату.

Я все же не совладал с собою и ускакал к ней. И вот я вернулся, дорогой Вильгельм, и за поздней своей скромной трапезою вновь пишу к тебе. Какое блаженство — видеть ее в кругу резвых пригожих детей, ее восьми братьев и сестер!

Однако если я продолжу в том же духе, ты в конце моего рассказа будешь знать не более, чем в начале. Слушай же, ибо я намерен принудить себя войти наконец в подробности.

Недавно писал я тебе, что познакомился с амтманом С. и что он просил меня вскоре быть его гостем в его уединенной обители или, вернее, в его маленьком королевстве. Я не торопился исполнить его просьбу и, может быть, вовсе не собрался бы нанести этот визит, если бы не счастливый случай, открывший мне сокровище, таившееся в этом тихом уголке природы.

Здесьняя молодежь положила устроить загородный бал, на котором я с охотою изъявил готовность присутствовать. Я напросился в кавалеры одной милой, хорошенькой, хотя и ничем не примечательной барышне, и мы условились, что я найму карету, и мы с нею и ее кузиной отправимся к месту увеселения, а по дороге заедем за Шарлоттой С.

— Сейчас вы увидите настоящую красавицу, — сказала моя спутница, когда мы ехали к охотничьему замку широкой лесной просекой.

— Берегитесь же, — прибавила ее кузина. — Не вздумайте влюбиться.

— Почему же? — любопытствовал я.

— Она уже обручена, — отвечала та. — С одним достойным человеком, который теперь уехал, чтобы привести в порядок свои дела в связи со смертью отца и получить весьма доходное место.

Сообщение это принял я довольно равнодушно.

Солнце еще не успело скрыться за горами, когда мы остановились перед воротами. Было душно, и девушки выражали тревогу, опасаясь грозы, которую предвещали серые тучи, клубившиеся на горизонте. Я постарался развеять их опасения замечаниями метеорологического толка, исполненными оптимизма, хотя и сам уже предчувствовал, что праздник не обойдется без неприятных сюрпризов природы.

Я вышел из кареты, и служанка, подоспевшая к воротам, сообщила, что мадмуазель Лоттхен просит извинить ее, она сию минуту выйдет. Я прошел к

красивому дому в глубине двора, и когда, поднявшись на крыльцо, вошел внутрь, мне представилось прелестнейшее зрелище из всех когда-либо виденных мною. В передней стояла стройная девушка среднего роста, в простом белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах, а вокруг нее столпилось шестеро детей, мал-мала меньше, от одиннадцати до двух лет. Она держала в руках каравай черного хлеба и, отрезая от него куски сообразно возрасту и аппетиту своих маленьких питомцев, наделяла каждого его порцией, да с такой восхитительной приветливостью, а те, протягивая вверх ручки еще до того, как настанет их черед, кричали ей с такою искреннею радостью: «спасибо!», а затем, в зависимости от характера и нрава, либо вприпрыжку бросались прочь со своею добычей, либо отходили степенно, направляясь к воротам, чтобы посмотреть на гостей и карету, в которой должна была уехать их Лоттхен.

— Прошу меня простить, — сказала она, — за то, что я заставила ваших спутниц ждать, а вам даже пришлось самому пройти в дом, чтобы поторопить меня. За сборами и распоряжениями по дому на время моего отсутствия, я совсем забыла про ужин, а дети привыкли получать хлеб лишь из моих рук и не желают слышать никаких отговорок».

Я сделал ей какой-то невразумительный комплимент, в то время как все чувства мои сосредоточены были на ее облике, голосе, жестах, и едва я успел оправиться от удивления, как она ушла в свою комнату за веером и перчатками. Дети между тем поглядывали на меня искоса с некоторого расстояния, и я подошел к самому младшему из них, чрезвычайно милovidному мальчугану. Он попятился было от меня, но тут воротилась Лотта и сказала ему:

— Луи, дай же дяде ручку.

Тот охотно повиновался, я же не мог удержаться и сердечно поцеловал малыша, несмотря на его сопливый носик.

— Дяде? — сказал я, подавая ей руку. — Вы полагаете, что я достоин счастья быть вашим родственником?

— О, наша родня столь многочисленна, что ничуть не пострадает, если к ней прибавится еще один родич, не уступающий своими достоинствами всем прочим.

Уже на ходу она наказала старшей сестре Софи, девочке лет одиннадцати, хорошенько смотреть за детьми и поцеловать от нее папá, когда тот вернется с конной прогулки. Малышам же она велела во всем слушаться свою сестрицу Софи так, как если бы это была она сама, и те наперебой обещали ей это. Одна маленькая белокурая умница лет шести, однако, не преминула заметить:

— Софи — вовсе не ты, Лоттхен. Тебя мы любим сильнее.

Двое старших мальчуганов уже успели вскарабкаться на задок кареты, и по моей просьбе, она позволила им доехать с нами до опушки, взяв с них слово крепко держаться и не озорничать.

Едва мы успели устроиться в карете и дамы, поприветствовав друг друга, обменялись замечаниями о туалетах, преимущественно о шляпах, а

затем на скорую руку перемыли косточки ожидаемым на балу гостям, как Лотта велела кучеру остановиться, а братьям слезть с запяток; те пожелали непременно еще раз поцеловать ей ручку, и старший сделал это со всею возможною нежностью пятнадцатилетнего кавалера, другой же по-мальчишечьи горячо и порывисто. Она еще раз передала привет малышам, и мы поехали дальше.

Кузина спросила Лотту, прочла ли та книгу, которую она ей недавно посылала.

— Нет, — отвечала Лотта, — она не понравилась мне. Охотно верну ее вам. Предыдущая была, впрочем, не лучше.

Осведомившись, что это были за книги, и получив от нее ответ, я был немало удивлен¹⁰: во всем, что она говорила, было столько смелости и самостоятельности суждений; с каждым словом открывал я все новые прелести в ее чертах, замечал все новые проблески ее ума, становившиеся тем ярче, чем более чувствовала она мое живое участие и понимание.

— Когда я была моложе, я больше всего любила романы, — говорила она. — Одному Богу известно, как я блаженствовала, устроившись воскресным днем где-нибудь в укромном уголке с книжкою и всем сердцем разделяя счастье и злоключения какой-нибудь мисс Дженни. Не скрою, я и теперь еще нахожу в романах некоторую привлекательность. Но поскольку у меня так редко доходят руки до чтения, то книга должна уж совершенно отвечать моему вкусу. И авторы мне тоже милее всего те, у которых я нахожу свой мир, у которых происходит то же, что и вокруг меня, и чья история интересна и близка мне так же, как моя собственная домашняя жизнь, которая, хотя и далека от райской, однако ж в целом представляет для меня источник несказанного счастья.

При этих словах я постарался скрыть свое волнение. Однако усилия мои оказались напрасными: когда она мимоходом необыкновенно метко высказалась о «Векфильдском священнике»¹¹ и о...¹², я, не сдержавшись, поделился с нею своими мыслями об этом предмете и лишь через несколько минут, когда Лотта попыталась вовлечь в беседу наших спутниц, заметил, что те во все это время не сводили с меня изумленных глаз и молчали, словно их тут вовсе и не было. Кузина затем несколько раз скользнула по мне лукаво-насмешливым взором, но меня это нисколько не заботило.

Разговор перешел на танцы.

— Если пристрастие к танцам — порок, — сказала Лотта, — то должна вам признаться, что не знаю более приятного порока. А когда меня одолевают тревоги или огорчения, стоит мне лишь побренчать на своем расстроенном фортепьяно какой-нибудь контрданс, как все мигом проходит.

¹⁰ Мы принуждены были опустить сию деталь письма, дабы никому не дать повода для обид или возмущения. Хотя, в сущности, любому автору нет дела до мнения барышни и незрелого молодого человека.

¹¹ «Векфильдский священник» (1766) — роман английского писателя Оливера Голдсмита (1728-1774).

(Прим. переводчика)

¹² Нам и здесь пришлось опустить имена некоторых отечественных сочинителей. Те из них, что удостоились похвалы Лотты, и без того почувствуют это сердцем, прочитав соответствующие строки, остальным же нет нужды знать ее мнение.

Как я любовался ее черными глазами! Как упоителен был вид ее живых губ и свежих, румяных щек! Увлеченный восхитительным смыслом ее речей, я порой не слышал слов, которыми она его выражала. Тебе не трудно будет представить себе это, ведь ты меня знаешь. Словом, когда мы достигли цели, я вышел из кареты точно во сне и так погружен был в свои грезы, созвучные опускающимся сумеркам, что даже не обратил никакого внимания на музыку, доносившуюся из освещенного зала.

Кавалеры кузины и Лотты, господа Одран и некий Н.Н. — разве упомнишь все имена! — встретили нас у кареты и, взяв под руку своих дам, повели их наверх, я со своею последовал за ними.

Мы грациозно лавировали в менюэтах; я приглашал одну девицу за другой, и как назло, самые глупые и неказистые не торопились сделать книксен и отпустить меня восвояси. Лотта с своим кавалером между тем начала англес, и мне, верно, нет нужды объяснять тебе, как приятно мне было, когда она проделывала фигуру с нами. Видел бы ты ее танцующей! Она всем сердцем и всею душою отдается танцу, все тело ее исполнено гармонии, она — сама безмятежность, сама непосредственность, словно ничего другого для нее уже не существует и она ни о чем не думает, ничего не чувствует; в эти минуты она определенно забывает обо всем на свете.

Я попросил ее танцевать со мной второй контрданс; она обещала мне третий, с обворожительной откровенностью признавшись, что страх как любит танцевать немецкий вальс.

— У нас здесь принято, — пояснила она, — чтобы вальс дама танцевала со своим постоянным кавалером, а мой компаньон скверно вальсирует и будет только рад, если я избавлю его от сей повинности. Ваша дама не жалуется вальс по той же причине, а вы, как я заметила еще в англесе, вальсируете отменно. Итак, если вы готовы доставить мне это удовольствие, испросите позволения у моего кавалера, я же отправлюсь к вашей даме.

Я поспешил принять ее предложение, и мы сговорились, что ее компаньон станет развлекать во время вальса мою компаньонку.

И вот грянула музыка, и мы некоторое время с увлечением проделывали различные фигуры посредством сплетения и перевода рук. С какой легкостью и грацией она двигалась! Затем, когда мы начали вальсировать, вращаясь один вокруг другого словно сферы, вначале, конечно же, не обошлось без толкотни, поскольку в этом танце и в самом деле преуспели лишь немногие. Мы, проявив благоразумие, терпеливо дождались, пока самые неловкие танцоры пристыженно ретируются, и оставшись лишь с одной парой, Одраном и его дамой, с честью выдержали испытание до конца. Никогда еще не чувствовал я себя столь свободно в танце. Я был уже не человек, но полубог. Держать в объятьях прелестнейшее создание и парить с ним над землею, позабыв обо всем на свете... Ах, Вильгельм, признаюсь тебе, в те минуты я поклялся, что девушка, которую я люблю, которая должна будет стать моею, никогда не закружится в вальсе с другим; я не допущу этого, чего бы мне это ни стоило, даже ценою жизни. Ты ведь понимаешь меня?

Мы сделали шагом несколько кругов по залу, чтобы отдышаться. Потом она села, и добытые мною для нее апельсины, последние еще чудом не съеденные более расторопными гостями, пришились весьма кстати и произвели превосходное действие, если не считать того, что каждая долька, которой она из вежливости делилась со своей нескромной соседкой, больно ранила мне сердце.

В третьем англезе мы танцевали второю парой. Я с непередаваемым блаженством держал ее руку и любовался ее глазами, в которых явственно выделась мне совершенно искренняя, ничем не прикрытая радость. И тут некая дама, примечательная своим необыкновенно любезным выражением уже немолодого лица, на ходу, в танце, взглянула на Лоттхен с улыбкой и, шутливо погрозив ей пальцем, дважды многозначительно произнесла имя «Альберт».

— Кто такой Альберт? — спросил я Лоттхен. — Разумеется, если вам угодно будет ответить.

Но она не успела удовлетворить мое любопытство, так как нам пришлось расстаться, чтобы проделать большую «восьмерку»; когда же мы вновь сошлись в танце, мне показалось, что в лице ее промелькнула тень каких-то раздумий.

— Не стану скрывать: Альберт — очень славный молодой человек, с которым я, можно сказать, уже обручена.

Казалось бы, в словах ее не было для меня ничего нового (ведь девушки сообщили мне об этом по дороге к замку), и все же они неприятно поразили меня, поскольку я еще не думал об этом известии применительно к другой Лоттхен, той, что за считанные мгновенья стала мне так дорога. Смутившись и растерявшись, я перепутал пары, так что весь танец оказался под угрозой, и лишь находчивость и решительность Лоттхен да ее ловкие руки помогли быстро восстановить порядок.

Танец еще не закончился, когда молнии, уже давно поблескивавшие на горизонте и объявленные мною зарницами, заметно усилились и гром стал заглушать музыку. Три дамы вышли из круга, кавалеры их последовали за ними, все смешалось, и музыка наконец смолкла.

Так уж устроен человек, что когда несчастье или какое-нибудь ужасное происшествие застигает нас в момент веселья, оно производит более сильное действие, нежели в другое время, отчасти в силу контраста, воспринимаемого особенно живо, отчасти и преимущественно потому, что чувства наши раскрыты и обострены и более готовы к восприятию впечатлений. Только этим и мог я объяснить нелепейшие эскапады некоторых дам в ответ на внезапно разразившуюся грозу. Самая благоразумная из них села в угол спиной к окну и зажала уши, другая бросилась перед ней на колени и спрятала голову в складках ее платья. Третья втиснулась между ними и, обхватив руками обеих своих сестриц, залилась слезами. Одни рвались домой, другие, еще менее отдававшие себе отчет в своих действиях, становились жертвами дерзких проказников, которые не нашли себе иной

забавы как срывать с губ перепуганных красавиц их обращенные к небу жалобные мольбы.

Кое-кто из мужчин спустился вниз, чтобы без помех выкурить трубку; остальные же гости с готовностью откликнулись на заманчивое предложение хозяйки перейти в другую комнату со ставнями и плотными шторами. Едва мы перешагнули порог этой комнаты, как Лоттхен велела поставить стулья в кружок и, усадив на них общество, принялась объяснять условия игры.

Я видел, как кое-кто уже жадно сверкал глазами и потирал руки в надежде на пикантный фант.

— Играем в «Веселую цифирь»! — возвестила Лоттхен. — Правила таковы: я хожу по кругу справа налево, и вы считаете так же, справа налево; каждый называет число, которое приходится на него, но чур, не зевать! Считать быстро! Кто замешкается или перепутает число, получает пощечину. Считаем до тысячи».

То-то была потеха! Она пошла по кругу с вытянутой рукой. «Один!» — крикнул первый, «два!» — продолжил следующий, «три!» и так далее. Затем она пошла быстрее, еще быстрее и вот — шлеп! пощечина; тут же, сквозь грянувший смех, — еще одна! А она все ускоряет шаг. Я и сам получил две оплеухи, с отрадой отмечая про себя, что они, как мне показалось, вышли более звонкими, нежели те, что достались другим. Игра закончилась общим хохотом и шумом веселья, прежде чем мы досчитали до тысячи.

Общество рассеялось, парочки уединились; гроза уже миновала, и мы с Лоттой отправились в зал. По пути она сказала:

— За пощечинами они позабыли и грозу и все на свете!

Я не нашелся, что ответить на это.

— Я испугалась больше всех, — продолжала она, — но изображая невозмутимость, чтобы подбодрить других, я и сама набралась храбрости.

Мы подошли к окну. Где-то вдалеке раздавались глухие раскаты грома, шелестел ласковый дождь; снизу, от земли, веяло теплом, а в воздухе разливались упоительнейшие ароматы. Она стояла, облокотившись на подоконник, взгляд ее устремлен был куда-то во тьму. Потом она посмотрела на небо, повернулась ко мне, и я увидел в глазах ее слезы. Положив мне на руку ладонь, она сказала:

— Клопшток¹³...

Я тотчас вспомнил великолепную оду, которую она имела в виду, и меня захлестнула волна чувств, вызванных этим одним-единственным словом из ее уст. Теперь уже сам ослепнув от сладостных слез, я не сдержался и, наклонившись, поцеловал ее руку. И вновь посмотрел в ее глаза... О, благородный певец! Если бы ты видел этот взор и прочел в нем восторг, внушенный тобою! Да заградит Господь отныне кощунственные уста, произносящие твое имя всуе!

19 июня

¹³ Фридрих Готтлиб Клопшток (1724-1803) — немецкий поэт. (Прим. переводчика)

Не помню, чем закончил я свой предыдущий рассказ; знаю лишь, что до постели добрался я в два часа пополуночи и что если бы была у меня в ту ночь возможность прибегнуть вместо письма к устному рассказу, то верно продержал бы я тебя своею болтовней до утра.

Я еще ни словом не обмолвился о том, как мы возвращались с бала, да и сегодня нет у меня времени расписывать все подробно.

То был божественный рассвет. Лес, еще каплющий серебром, поля, освеженные грозою... Спутницы наши задремали. Она спросила, не желаю ли и я последовать их примеру, мол, пусть меня не стесняет ее присутствие.

— Пока я вижу перед собой ваши глаза, — отвечал я, твердо глядя ей в лицо, — мне не грозит никакая дремота.

И мы оба бодрствовали до самого ее дома. Служанка, тихо отворившая ворота, сообщила, что и батюшка, и дети в полном здравии и еще почивают. Прежде чем расстаться с нею, я просил позволения увидеть ее нынче же; она согласилась, я приехал, и с той минуты мне дела нет, что на дворе — день или ночь, солнце сияет или месяц; весь мир вокруг меня словно исчез в тумане.

21 июня

Я переживаю такие счастливые дни, какими Господь Бог жалует лишь своих святых; и теперь, что бы со мною ни случилось — я не стану роптать на судьбу, ибо уже довольно вкусил радостей, чистейших радостей жизни. Ты знаешь уже мой Вальгейм; там-то я теперь и обосновался, оттуда мне лишь полчаса до Лотты, там я чувствую себя самым собою и имею все счастье, какое может быть даровано человеку.

Мог ли я знать, избрав Вальгейм целью своих длинных прогулок, что он так близок к небесам! Как часто видел я этот охотничий замок, ставший теперь вместилищем всех моих желаний, то с горы, то с равнины через реку!

Дорогой мой Вильгельм, я много размышлял о присущей человеку тоске по неведомым далям, жажде странствий, новых открытий, которая уживается в нем с глубоко укоренившейся в душе его готовностью к ограничениям, подспудным желанием влачиться в русле привычного и знакомого, не глядя по сторонам, не заботясь о том, что происходит вокруг.

Удивительно! Когда я впервые оказался в сей местности — как манили меня эти дали! Там лес — ах, как хочется вступить под сень его густых деревьев! Там вершина горы — ах, если бы подняться на нее и обозреть сверху бескрайние просторы! А этот зеленый лабиринт холмов и долин — как сладко было бы затеряться в нем! Я спешил то к одной, то к другой цели, и возвращался, не найдя того, что искал. О, с далями дело обстоит так же, как и с грядущим! Впереди мерцает некая безбрежная туманная бездна, в коей тонет наше око, растворяются наши чувства, и мы, объятые неизъяснимою тоской, готовы полететь к ней, кануть в нее всей душой и всем сердцем, в сладкой муке исполниться единого, великого, божественного чувства. Но,

увы! Когда мы устремляемся туда, когда это недостижимое «там» становится близким и доступным «здесь», мы не находим никакой разницы между прошлым и настоящим и вновь оказываемся лицом к лицу с убожеством и ограниченностью нашего существования, и душа наша мучится неутоленной жаждой ускользнувшего блаженства.

Так самый неумный бродяга в конце концов вновь впадает в тоску по отечеству и находит в своей хижине, на груди у супруги, в кругу детей, в заботах и тяготах, связанных с попечением об оных, блаженство, которое тщетно искал он на чужбине.

Когда я, выйдя с рассветом из дому и добравшись до Вальгейма, сам срываю себе в огороде при трактире стручки гороха, затем вылуциваю его, читая своего Гомера; когда выбрав в маленькой кухоньке подходящий горшок и сдобрив горох маслом, я ставлю его на огонь, накрыв крышкой, и сажусь подле очага, чтобы время от времени помешивать в горшке, — я живо воображаю себе, как дерзкие женихи Пенелопы, закалывают, разделяют и жарят быков и свиней. Ничто не может исполнить меня такого глубокого, истинного мироощущения, как черты патриархального быта, которые мне, слава Создателю, удастся без аффектации вплетать и в свою жизнь.

С каким живым участием я мысленно разделяю простую, незатейливую радость труженика, принесшего в дом свой кочан выращенной им собственноручно капусты и вкушающего не только от плода своего труда, но и как бы заново наслаждающегося прекрасным утром, коим он посадил эту капусту, и ласковыми вечерами, коими заботливо поливал ее, с отрадой отмечая, как быстро она растет и наливается соком.

29 июня

Третьего дня приезжал к амтману лекарь из нашего городишки и нашел меня на полу, барахтающимся с братьями и сестрами Лотты, из коих одни карабкались по мне, другие тормозили меня, я же щекотал их, так что вместе мы производили немало шума и смеха. Доктор, этакая заводная кукла, ученый шут, начиненный одними лишь догмами, во время беседы беспрестанно теребящий свои манжеты и разглаживающий воображаемые складки на сюртуке, счел мое поведение недостойным человека из общества; я заметил это по выражению его носа. Нисколько не смутившись столь суровым осуждением, я вполуха слушал его разглагольствования о различных серьезных предметах, заново выстраивая детям разрушенные ими карточные домики. Он же, воротившись в город, стал жаловаться на каждом углу, что манеры детей амтмана и без того оставляют желать лучшего, а теперь Вертер довершает их растление.

Да, дорогой мой Вильгельм, дети мне ближе всего в этом мире. Когда я смотрю на них и вижу в том или ином маленьком существе зерна всех добродетелей, всех сил, кои однажды понадобятся ему; когда в детском своеволии я вижу будущую стойкость и твердость характера, а в озорстве — юмор и легкость нрава, столь необходимые в преодолении опасностей, и все

это в первозданном, неискаженном, целостном виде, — я всякий раз повторяю золотые слова Небесного Учителя нашего: «Если не обратитесь и не будете как дети¹⁴ ...». И вот, дорогой друг мой, с равными нам, с теми, кого надлежит нам почитать за образец, мы обращаемся, как с подданными. Им не должно иметь воли! А разве мы не имеем ее? В чем же наше преимущество? В том, что мы старше и умнее! Боже милостивый, сущий на небесах, Ты зришь лишь старых и малых детей; а которые из них Тебе более угодны, Сын Твой давно уже возвестил. Но они, веруя в Него, не слышат Его (это тоже не ново) и воспитывают детей по образу и подобию своему... Прощай, Вильгельм! Довольно празднословия на сию горестную тему.

1 июля

Что Лотта может означать для человека, лежащего на одре болезни, я испытал на собственном сердце, которое страдает сильнее, нежели иной умирающий. Несколько дней ей придется провести в городе у одной доброй женщины, смертный час которой, по словам докторов, приблизился и которая в эти последние минуты пожелала видеть подле себя Лотту. На прошлой неделе я навещал вместе с нею деревенского пастора в одном горном местечке в часе езды. Мы прибыли туда около четырех часов. Лотта взяла с собою младшую сестру. Когда мы вошли во двор священника, осеняемый двумя высокими ореховыми деревьями, старик сидел на скамье перед домом и, увидев Лотту, тотчас оживился, позабыл про свою узловатую палку и поспешно поднялся, чтобы пойти ей навстречу. Она опередила его и принудила сесть, сама опустившись на скамью, затем передала ему сердечный привет и добрые пожелания от своего батюшки, приласкала его младшего сына, чумазого противного мальчишку, утешение старости. Ах, видел бы ты, как приветлива была она со стариком, как мило возвышала голос, чтобы он, уже полуглухой, мог расслышать ее слова; как она рассказывала ему о молодых, пышущих здоровьем людях, неожиданно почивших в бозе, расписывала достоинства целебных вод в Карлсбаде и хвалила его решение, отправиться туда будущим летом, уверяла его, что он выглядит много лучше, бодрее, чем в прошлый раз. Я тем временем обменивался любезностями с его женою. Старик разговорился, а поскольку я не преминул одобрительно отозваться о прекрасных деревьях во дворе, дающих живительную прохладу, он почел своим долгом поведать нам их историю, хотя это и далось ему не без некоторого труда.

— Кто посадил то, что постарше, нам неведомо; одни приписывают сию заслугу тому пастору, другие иному. А молодое, то, что в глубине двора, ровесник моей жены, в октябре исполнится ему пятьдесят лет. Ее отец посадил деревцо утром, а она родилась вечером. Родитель ее был моим предшественником, здешним пастором, и уж так любил это дерево, что не сказать словами; да и мне оно дорого не меньше. Жена моя сидела под ним

¹⁴ Евангелие от Матфея, 18, 3. (Прим. переводчика)

на балконе и вязала, когда я двадцать семь лет тому назад бедным студентом впервые вошел в этот дворик.

Лотта осведомилась о его дочери; он, ответив, что та отправилась с господином Шмидтом на луг, к работникам, продолжил рассказ: как его полюбил старый пастор, а затем и его дочь и как он сначала стал викарием, а после и сменил тестя на его посту. Едва успел он закончить свою историю, как в саду показалась пасторская дочка с упомянутым господином Шмидтом. Она с искренней сердечностью поздоровалась с Лоттой, и должен признаться, что она очень мне понравилась — довольно подвижная статная брюнетка, с которой всякий рад был бы скоротать время в сельской глуши. Поклонник ее (ибо относительно роли господина Шмидта скоро не осталось у меня сомнений), с виду приятный, но молчаливый человек, не участвовал в общей беседе, хотя Лотта не раз пыталась вовлечь его в наши разговоры. Более всего меня огорчило то, что, как я мог заметить по чертам его лица, необщительность его объяснялась не столько ограниченностью ума, сколько своенравием и угрюмостью. К сожалению, скоро это проявилось со всей очевидностью: когда мы вместе отправились прогуляться и Фредерика шла то рядом с Лоттой, то рядом со мной, лицо этого господина, и без того смуглое, омрачилось и потемнело настолько, что Лотта вынуждена была незаметно дернуть меня за рукав и подать мне знак, что я слишком уж галантен с Фредерикой. Меня же ничто так не раздражает, как привычка людей мучить друг друга, в особенности, когда молодые люди во цвете лет, казалось бы, открытые для всех радостей, отравляют друг другу жизнь желчными гримасами и лишь спустя время осознают сию непростительную расточительность и невозвратимость потерь. Меня разозлило дутье господина Шмидта, и когда мы, вернувшись под вечер в деревню, вместе ужинали молоком, я не смог отказать себе в удовольствии перевести разговор, коего предметом стали радости и горести мира, на нужную мне тему и высказался более чем определенно о вреде дурного настроения.

— Люди часто сетуют на то, что счастья в жизни так мало, а огорчений так много, не имея, однако, на то порою никаких оснований, — начал я свою речь. — Ежели бы мы с открытым сердцем принимали добро, посылаемое нам Господом на каждый день, и спешили насладиться оным, то достало бы нам и сил нести бремя зла в свой час.

— Однако дух наш не в нашей власти, — заметила жена пастора. — Как много зависит от плоти! Когда нам неможется, то ничто уж не радует нас.

Я поспешил согласиться с нею.

— Стало быть, — продолжал я, — не возбраняется нам рассматривать дурное расположение духа как болезнь и задаться вопросом, нет ли какого-нибудь средства против него?

— Превосходная мысль, — сказала Лотта, — во всяком случае, по моему мнению, многое тут зависит от нас. Я знаю это по себе. Когда меня что-нибудь раздражает или огорчает, я тотчас все бросаю и иду прогуляться

в сад, напевая какой-нибудь контрданс, и даже не успеваю заметить, как все проходит.

— Именно это и хотел я сказать, — подхватил я. — С дурным настроением дело обстоит совершенно так же, как с ленью, ибо это именно своего рода лень. Мы все в той или иной мере подвержены сей напасти, однако стоит лишь взять себя в руки, как дело вновь спорится, и работа доставляет нам истинное удовольствие.

Фридерика слушала меня с большим вниманием, а кавалер ее заметил, что человек не властен над собою, в особенности над своими ощущениями.

— Речь здесь идет о неприятных ощущениях, — возразил я, — от коих каждый желал бы избавиться; узнать же предел своих сил нельзя, покуда не испытываешь их. Конечно, если человек болен, он готов вопрошать о своей болезни всех докторов и для сохранения здоровья не остановится ни перед какими жертвами, не побоится никаких горьких пилюль.

Заметив, что пастор напрягает слух, чтобы следовать беседе, я возвысил голос, обращая свои слова непосредственно к нему.

— В проповедях своих служители Церкви обличают столь многие пороки, — говорил я. — Однако мне никогда не доводилось слышать, чтобы темою пастырских наставлений становился угрюмый нрав¹⁵.

— Пусть этим занимаются городские пасторы, — молвил старик. — Крестьянин не знает дурного настроения; а впрочем, порою это было бы не лишним и в наших краях, во всяком случае, жене моей, да еще, пожалуй, господину амтману лишнее назидание верно не повредило бы.

Все общество рассмеялось; старик и сам от души посмеялся своей шутке, но сильный кашель, коим он тут же разразился, прервал на некоторое время нашу беседу. Затем господин Шмидт вновь взял слово:

— Вы назвали дурное настроение пороком; я нахожу, что это преувеличение.

— Ничуть, — отвечал я, — ибо свойство сие, коим вредим мы себе и ближнему своему, не заслуживает иного названия. Не довольно ли того, что мы не способны сделать друг друга счастливыми? Отчего же нам непременно надобно еще и отнять друг у друга простую радость, выпадающую на долю каждого? Укажите мне человека, который, пребывая в дурном расположении духа, пожелает быть настолько любезен, что поскорее уединится, дабы не сеять вокруг уныние и тоску! Не есть ли дурное настроение всего лишь внутреннее наше недовольство своим собственным несовершенством, досада на самое себя, всегда сопряженная с завистью, которую питает глупое тщеславие? Видеть счастливых людей, обязанных своим счастьем не нам, есть для нас невыносимая мука.

Лотта улыбнулась мне, заметив волнение, с которым я говорил; блеснувшие же в глазах Фредерики слезы еще более подстегнули мое красноречие.

¹⁵ Теперь уже располагаем мы замечательною проповедью Лафатера на сию тему, в коей между прочим говорится и о книге пророка Ионы.

— Горе тому, кто воспользуется своею властью над чужим сердцем, чтобы лишить его простых радостей, рождающихся в нем самом. Никакие дары, никакие блага на свете не искупят одной-единственной минуты радости, отравленной завистливою враждою нашего мучителя.

Сердце мое в этот миг переполнилось; воспоминания стеснили мне грудь, и слезы навернулись на глаза.

— Ты не в силах оказать друзьям своим большей услуги, нежели умножить их счастье, не лишая их радостей, но разделять с ними оные — вот что надобно твердить себе всякий день! — воскликнул я. — Способен ли ты дать другу, терзаемому душевною мукою, сотрясаемому опасною страстью хотя бы каплю утешения, хотя бы немного утолить его боль?

Когда юная подруга, чьи лучшие годы отравлены тобой, лежит на смертном одре, во власти последнего, страшного недуга, в полном изнеможении, устремив безучастный взор к небу, и смертный пот на бледном челе выдает близость роковой минуты; и ты стоишь в изголовье, точно проклятый, внутренне корчась от противоречивого чувства — готовности на любые жертвы ради того, чтобы вдохнуть в холодеющее сердце хотя бы каплю бодрости, хотя бы искру мужества, и сознания собственного бессилия...

Воспоминание о подобной сцене, коей я был участником, обрушилось на меня с такой чудовищною силой, что, прижав к глазам носовой платок, я поспешил удалиться, и лишь спустя несколько времени голос Лотты, звавшей меня и напоминавшей, что нам пора отправляться в обратный путь, вернул меня к действительности. О, как она бранила меня по дороге домой за то, что я все принимаю так близко к сердцу! Она говорила, что это меня погубит, что я должен побереечь себя! О, ангел! Я должен жить хотя бы ради тебя!

6 июля

Она все дни проводит у своей умирающей подруги, нисколько не меняясь, — все то же заботливое, милое создание, которое повсюду сеет радость и облегчает страдание. Вчера вечером она с Марианной и крошкой Мальхен отправилась на прогулку; зная о том, я встретил их, и мы пошли вместе. Через полтора часа воротились мы назад и приблизились к источнику на окраине города, который в свое время так полюбился мне, а теперь стал еще во сто крат дороже. Лотта присела на низкую каменную ограду, мы же стояли перед нею. Я окинул взором уединенную рощицу, где сердце мое еще недавно сжималось от одиночества, и воспоминания об этом тотчас ожили во мне.

— Милый источник, — молвил я, — давно не наслаждался я твоею прохладой, все спешил мимо, не удостоивая тебя даже взглядом.

Снизу по ступеням деловито поднималась со стаканом воды Мальхен. Взглянув на Лотту, я вдруг ощутил со всею полнотою то чувство, которое

она вызывает во мне. Между тем Мальхен приблизилась к нам; Марианна хотела взять из рук ее стакан, но та воспротивилась.

— Нет! — воскликнуло дитя с прелестнейшим выражением маленького личика. — Нет, пусть сперва напьется Лотта!

Искренность и доброта, с которою она произнесла это, привели меня в такой восторг, что я, не умея выразить его иначе, поднял малютку в воздух и крепко поцеловал ее, она же вскрикнула и громко заплакала.

— Вы поступили дурно, — сказала Лотта.

Я, пораженный ее словами, молчал.

— Идем, Мальхен, — продолжала Лотта, взяв ее за руку и увлекая вниз по ступеням. — Если быстро-быстро умыть личико свежей водицею, то ничего и не случится.

И вот я стоял и смотрел, с каким усердием терла малютка свои щечки, с какою верою в то, что чудотворный источник очистит от любой скверны и избавит от позорной участи обрасти отвратительною бородою; и когда Лотта сказала ей, что довольно, что опасность миновала, ребенок с прежним рвением продолжал тереть водою личико, как будто от продолжительности омовения зависел его исход... Доложу тебе, Вильгельм, ни один обряд крещения не вызывал во мне большего пиетета, нежели эта маленькая сценка у источника. И когда Лотта поднялась наверх, я готов был броситься перед ней на колени, как перед пророчицей, смывшей грехи целого народа.

Вечером я не удержался и поделился радостью дневных впечатлений своих с одним господином, в коем предполагал я найти живое участие, зная его острый ум, но не тут-то было! Он осудил Лотту, заметив, что не следует морочить детей, ибо это ведет к многочисленным недоразумениям и предрассудкам, от коих надобно оберегать человека с молодых ногтей. Тут пришло мне на ум, что господин этот восемь дней назад крестил свое чадо, и потому я поспешил переменить тему разговора, не изменив, однако, своего мнения, что с детьми надобно поступать так же, как Господь поступает с нами, оставляя нас в блаженном неведении относительно многих тайн бытия и лишь умножая тем самым наше счастье.

8 июля

Какие мы, в сущности, дети! Как жадно можем мы ловить чей-то взор! Какие же мы дети!

Мы ездили в Вальгейм. Дамы отправились первыми в экипаже, и вот во время нашей прогулки мне показалось, будто в черных глазах Лотты... Ах, какой я глупец! Прости! Но видел бы ты эти глаза! Буду краток (ибо мои глаза от усталости закрываются сами собой). Вообрази: дамы сели в карету, а у подножки кружком выстроились юный В., Зельштадт, Одран и я. Дамы через окошко благосклонно болтали с этими беспечными юнцами, коим, конечно же, не занимать ни легкости, ни веселости. Я искал встретиться глазами с Лоттою, но она, увы, переводила взгляд с одного на другого, только не на меня! Не на меня! Я, единственный, чей полный отчаяния

взгляд неотрывно прикован был к ней, не удостоился ее внимания. Сердце мое беззвучно взывало к ней стократным «адьё!» Но она меня не видела! Карета тронулась, проехала мимо; я, глядя ей вслед, тщетно силился проглотить комок слез и вдруг увидел шляпку Лотты, высунувшейся из окошка, чтобы посмотреть — о боже, не на меня ли? Дорогой мой! Теперь я лелею эту неопределенность; в ней мое утешение: быть может, она оглянулась на меня! Быть может!

Доброй ночи!

О, какое же я дитя!

10 июля

Много теряешь ты, не видя того клоуна, в коего превращаюсь я всякий раз, когда в обществе говорят о ней! В особенности, когда меня спрашивают, нравится ли она мне... «Нравится»!.. Вот слово, которое приводит меня в ярость. Что же это должен быть за человек, коему Лотта всего лишь «нравится», чьими мыслями и чувствами не владеет она безраздельно! «Нравится»!.. Давеча меня спрашивал некто, как мне нравится Оссиан!

11 июля

Фрау М. очень плоха; я молюсь за ее жизнь, разделяя боль Лотты за эту несчастную. Мы встречаемся изредка у одной общей знакомой, и сегодня Лотта рассказала мне об одном удивительном происшествии. Старый М., непревзойденный скряга и скопидом, всю жизнь притеснял и мучил свою жену, во всем ее ограничивая; однако ей всегда удавалось действовать в обход его воли. Несколько дней назад, когда доктора признали состояние ее безнадежным, она велела позвать мужа и обратилась к нему с следующими словами (Лотта стала свидетелем этого разговора):

— Я должна признаться тебе в одном прегрешении, которое после смерти моей может стать причиною недоразумений и огорчений. До болезни моей я вела хозяйство со всею возможною осмотрительностью и бережливостью; надеюсь, ты простишь меня за то, что я все эти тридцать лет неволью обманывала тебя. С самого начала нашего супружества ты определил несоразмерно малую сумму на расходы по кухне и домашние нужды. Когда хозяйство наше окрепло и доходы умножились, ты не пожелал увеличить сумму моих еженедельных трат; словом, не мне напоминать тебе, что, не взирая ни на какие нужды и расходы, ты требовал, чтобы я обходилась лишь семью гульденами в неделю...

Я безропотно исполняла твою волю и еженедельно брала часть прибýtка из кассы, пользуясь тем, что никто не мог заподозрить хозяйку в воровстве. Я ни гроша не истратила понапрасну и со спокойною совестью отошла бы теперь в мир иной, если бы не мысль о той несчастной, которой предстоит вести хозяйство после меня и которая придет в недоумение, как

мне удавалось сводить концы с концами, ведь ты станешь уверять ее, что твоя первая жена успешно обходилась этой суммой.

Я говорил с Лоттой о странной слепоте наших ближних, которые едва ли могут не заподозрить неладное, видя, как домочадцы их обходятся семью гульденами, в то время как расходы видимо превышают сию сумму. Впрочем, мне и самому доводилось встречать людей, кои без удивления, как должное, приняли был дар пророка, пресловутый кувшинчик с неубывающим маслом¹⁶.

13 июля

Нет, я не обманываюсь! В ее черных глазах читаю я искреннее участие во мне и в моей судьбе. Я даже чувствую (и в том смело могу довериться моему сердцу), что она — о, смею ли я вымолвить эти слова, равнозначные райскому блаженству? — что она любит меня! Любит меня!.. Как вырос я в собственных глазах! Тебе я не стыжусь признаться в этом, ты поймешь меня. Я сам себе кажусь божеством, с тех пор как она полюбила меня!

Не знаю, дерзость это или чутье, но я не вижу в сердце Лотты места для моего соперника. И все же когда она говорит о своем женихе и в голосе ее звучит столько тепла и любви, я чувствую себя государственным преступником, коего только что лишили всех чинов, наград и шпаги.

16 июля

Ах, как стремительно бежит по жилам моя кровь, когда пальцы наши нечаянно соприкасаются или моя нога под столом вдруг встретит ее ножку! Я отстраняюсь от нее, как от огня, но некая таинственная сила вновь неудержимо влечет меня к ней. У меня кружится голова, и мутится рассудок. Ах, она в своей невинности и непосредственности не чувствует, как мучительны для меня эти маленькие вольности. А когда в увлечении беседы она кладет мне на руку свою ладонь или придвигается так близко, что я чувствую ее божественное дыхание, у меня темнеет в глазах, словно меня ослепила молния... О, Вильгельм! Если я когда-нибудь дерзну злоупотребить этим ангельским доверием и... — ты понимаешь меня. Но нет, я не настолько порочен! Хотя и слаб! Слаб! А разве это не порок?

Она для меня — святыня. Пред ней всякое вожделение пристыженно умолкает. В ее присутствии я не помню себя; каждая частичка моего существа словно сотрясается невидимым ураганом. Есть у нее одна излюбленная мелодия, которую играет она на фортепьяно с поистине ангельской силой, так просто и так вдохновенно! Стоит ей лишь взять первую ноту, как в груди моей мгновенно стихают боль, смятение и тоска.

Какие бы чудеса ни приписывали волшебной силе музыки, я готов поверить даже в самые невероятные из них. Как меня трогают эти

¹⁶ Третья Книга Царств, 17, 14-16. (Прим. переводчика)

незамысловатые звуки! И как верно умеет она выбрать время для музицирования — нередко именно в ту минуту, когда мне хочется пустить себе пулю в лоб! Мрак и хаос в душе моей тотчас рассеиваются, и я вновь могу дышать полной грудью.

18 июля

Вильгельм, друг мой, на что человеку мир без любви? Какой прок в волшебном фонаре без света? Но стоит лишь поместить внутрь него лампочку, и тотчас на белой стене являются разноцветные картинки! И пусть они суть всего лишь мимолетные видения, призраки, мы все же исполняем счастья, когда стоим перед ними, как дети, и простодушно радуемся этим маленьким чудесам. Сегодня мне не довелось повидаться с Лоттою, я стал жертвою докучливых гостей. Что мне было делать? Я послал к ней своего слугу, чтобы иметь подле себя хоть одно живое существо, коему посчастливилось сегодня лицезреть ее. С каким нетерпением ждал я его, с какою радостью встретил! Я готов был расцеловать его и непременно сделал бы это, если бы у меня хватило на то духу.

Сказывают, что бононский камень¹⁷ впитывает солнечные лучи и, полежав несколько времени на солнце, долго еще светится в темноте. Таким же диковинным камнем казался мне и этот парень. Мысль о том, что взор ее касался его лица, его щек, его пуговиц, ворота его сюртука, делала все это в глазах моих святыней, драгоценностью! В ту минуту я не уступил бы этого юношу и за тысячу талеров. Мне так отрадно было его присутствие. Только не вздумай смеяться надо мной! Скажи по совести, Вильгельм, какие же это призраки, если они доставляют отраду?

19 июля

«Я увижу ее!» — восклицаю я, пробудившись утром и радостно приветствуя солнце. «Я увижу ее!» — и одно это желание тотчас вытесняет из груди моей все прочие. Всё, всё сливается и растворяется в сей лучезарной перспективе.

20 июля

Последовать вашему совету и отправиться вместе с посланником в ***, я покуда не тороплюсь. У меня нет охоты оказаться под чьим бы то ни было началом. Да и всем известно, что он к тому же пренеприятнейший человек. Ты пишешь, что матушка моя желала бы видеть мою жизнь более деятельною, нежели теперь; это меня рассмешило. Разве теперь мне недостает деятельности и не все ли равно, что перебирать, горох или

¹⁷ Фосфоресцирующий шпат, обнаруженный в 1602 г. в Италии близ Болоньи (древнее название Болоньи — Бонония) и названный Болонский, или бононский, камень. (Прим. переводчика)

чечевицу? Все в этом мире по большому счету вздор и чепуха, и тот, кто выбивается из сил в погоне за деньгами, славою или еще чем-нибудь не из собственной страсти, не ради собственных нужд, но в угоду другим, всегда остается в дураках.

24 июля

Коль скоро ты просишь меня не оставлять рисования, я предпочел обойти сей предмет молчанием, нежели извещать тебя о том, что занятие сие предано мною забвению.

Никогда еще не был я так счастлив, никогда еще не чувствовал так глубоко и тонко природу, каждый камешек и каждую былинку, и все ж — не знаю, как выразить это — изобразительное мастерство мое так несовершенно; все расплывается и колеблется перед внутренним моим взором, так что я не в силах запечатлеть ни единого образа. Но я тешу себя обманчивой надеждой, что будь у меня под рукою глина или воск, я бы верно сумел добиться желаемого. Если так пойдет и дальше, придется мне и в самом деле взяться за глину, и будь что будет — хоть лепешки!

Трижды принимался я за портрет Лотты и трижды осрамился; это тем досаднее, что прежде мне без труда удавалось передавать сходство. В конце концов пришлось мне удовлетвориться ее силуэтом.

25 июля

Конечно же, милая Лотта, я непременно все сделаю, исполню все Ваши поручения; сделайте милость, давайте мне их побольше и почаще. Об одном лишь прошу Вас: не посыпайте более песком свои записочки ко мне. Облобызав сегодня послание Ваше, почувствовал я, как скрипит он на зубах.

26 июля

Я уже не раз давал зарок не видеться с нею так часто. Но как исполнить его?.. Каждый день, не выдержав искушения и нарушив слово, я вновь клянусь себе: завтра ты не увидишь ее! Но утром всякий раз вновь нахожу неопровержимый довод в пользу свидания, и не успеваю опомниться, как уже стою перед ней. То она говорит вечером: «Вы ведь будете у нас завтра?» — и как могу я после этого усидеть дома? То дает мне поручение, и я считаю своим долгом лично доставить ей ответ. Или день выдается уж больно хорош, и я отправляюсь в Вальгейм, откуда всего полчаса пешего пути до охотничьего замка, и в такой опасной близости мне уже не под силу противиться соблазну; раз! — и я там. Бабушка моя рассказывала мне сказку о магнитной горе: корабли, подплывшие к ней слишком близко, в один миг теряли все свои железные части — гвозди сами собой летели к горе, а несчастные мореходы тонули в пучине посреди рассыпавшихся досок и балок.

Альберт вернулся, и я должен удалиться; даже если он окажется лучшим, благороднейшим из людей, коего превосходство предо мною во всех отношениях я готов буду признать, это все же было бы непереносимо — видеть его счастливым обладателем стольких добродетелей. Обладателем! Довольно, дорогой мой Вильгельм, жених пришел, дорогу жениху! Славному, добропорядочному человеку, с коим надлежит водить дружбу. К счастью, меня не было при их встрече! Этого мое сердце не выдержало бы. Надобно отдать ему должное: он в моем присутствии еще ни разу не поцеловал Лотту. Да вознаградит его за это Господь! Он заслуживает моей любви уже одним лишь почтением, с коим относится к Лотте. Мне он желает добра; впрочем, сие обстоятельство — скорее заслуга Лотты, нежели его собственное благорасположение ко мне. В этом женщины чрезвычайно искусны и поступают мудро: добившись мира и согласия меж двумя своими поклонниками, они и сами не останутся внакладе, хотя подобные чудеса и нечасты.

Между тем, не могу не признать своего уважения к Альберту. Его невозмутимость выгодно выделяется на фоне моего беспокойного нрава, который нельзя скрыть. Он тонко чувствует и умеет ценить доставшееся ему сокровище. Судя по всему, он редко поддается тоске и раздражительности, которые, как тебе известно, ненавистнее мне в людях более других изъянов.

Во мне видит он человека незаурядного; а моя привязанность к Лотте, горячая радость, с которой принимаю я все ее слова и поступки, умножают его торжество и еще более подливают масла в огонь его любви к ней. Быть может, он даже не мучает ее мелкими изъявлениями ревности, о том не берусь я судить; во всяком случае, я на его месте не был бы столь беспечен и остерегался бы сей дьявольской напасти.

Как бы то ни было, радости моей от свиданий с Лоттой пришел конец. Не знаю, как назвать это, глупостью или слепотой — ах, не все ли равно? Название ничего не изменит. Я знал, что меня ждет, прежде чем вернулся Альберт; я знал, что не смею добиваться взаимности и не добивался — насколько это возможно подавлять в себе страстное влечение при виде такого совершенства. И вот, незадачливый кавалер стоит, раскрыв рот, и в изумлении смотрит на соперника, который пришел, чтобы отнять у него возлюбленную.

Стиснув зубы, я посмеиваюсь над своими муками, но вдвойне и втройне готов посмеяться я над теми, у кого уж припасен для меня добрый совет: отступить и коли ничего изменить нельзя... Избавьте меня от этих участливых болванов! Я брожу по окрестным лесам, а явившись к Лотте и застав у нее Альберта, сидящего в тенистой беседке, я терзаюсь сознанием своей ненужности и оттого прихожу в судорожное веселье, дурачусь и кривляюсь, проказничаю и несую всякий вздор.

— Ради Бога, — сказала мне сегодня Лотта, — прошу вас, постарайтесь обойтись без сцен, подобных той, что вы устроили вчера! На вас больно смотреть, когда вы впадаете в такое веселье.

Между нами говоря, я стараюсь являться там в его отсутствие; проведая, что у него дела, я мигом бросаюсь в путь! И всякий раз, как мне удается встретить ее одну, я чувствую себя на седьмом небе.

8 августа

Помилуй Бог, дорогой Вильгельм, я вовсе не тебя имел в виду, браня людей, требующих покорности судьбе. Верь мне, я попросту не подумал о том, что и ты можешь придерживаться схожего мнения. И, в сущности, ты прав. Одного лишь не учел ты, дорогой друг мой! В жизни редки случаи, когда все можно решить посредством формулы «либо-либо»; чувства и поступки наши столь многообразны, а оттенки и разновидности их столь же многочисленны, сколь градации меж орлиным и вздернутым носом.

Словом, ты не станешь сердиться на меня, если, признав всю справедливость твоих аргументов, я все же предпочту ускользнуть в маленькую щелочку меж двумя «либо».

Либо, говоришь ты, у меня есть надежда получить руку и сердце Лотты, либо таковой нет. В первом случае, надлежит мне стремиться к цели, добиваться исполнения своих желаний, во втором — попытаться избавиться от мучительного чувства, которое грозит истощить все мои силы. Друг мой! Легко сказать — «избавиться»!

Можешь ли ты потребовать от несчастного, чья жизнь неудержимо тает под натиском жестокой, коварной болезни, чтобы он положил конец своим страданиям, своею рукою вонзив себе в сердце кинжал? Ведь мука, истощающая его силы, лишает его и мужества, решимости избавиться от этих страданий.

Ты, впрочем, можешь ответить в тон мне другим сравнением: разве не разумнее отсечь больную руку, нежели страхом и медлительностью обречь всего себя на верную гибель? Не знаю, право! Однако довольно нам дразнить друг друга сравнениями. Да, Вильгельм, порою я ощущаю приливы такого целебного, избавительного мужества, и если б знал куда, то, не раздумывая, бежал бы.

Вечером

Дневник мой, забытый мною с некоторых пор, вновь попался мне сегодня в руки, и меня вдруг поразило, что я сам, вполне осознанно, шаг за шагом шел в эту западню! Что, ясно видя свое состояние, я все же действовал как дитя, и даже теперь, когда все представляется мне с еще большею отчетливостью, я не замечаю в себе ни малейших признаков исправления.

10 августа

Не будь я глупцом, я мог бы пребывать в постоянном блаженстве. Редко обстоятельства складываются столь счастливо, редко судьба благоприятствует человеку столь явно. Ах, как это верно, что счастье наше зависит от нас самих! Казалось бы, чего еще желать? Я принят как свой в прекраснейшей семье, старик любит меня как сына, малыши — как отца, а Лотта... Альберт, добрейшая душа, не омрачает моего счастья никакими изъявлениями недовольства или враждебности, но, напротив, осыпает меня знаками искренней дружбы; после Лотты нет у него во всем свете существа, ближе меня!.. Вильгельм, ты бы заслушался наших трогательных речей, когда мы, гуляя вдвоем, беседуем о Лотте! Нет ничего нелепее этой дружбы, и все же ко мне часто приходят светлые слезы умиления.

Он рассказывает мне о том, как добрая матушка ее, сходя во гроб, поручила Лотте хозяйство и детей, а Лотту — его заботам; как с той поры она совершенно переменилась, как перед лицом горя, в неустанных хлопотах по дому, стала она настоящей матерью, и ни единый миг ее жизни не проходит без деятельной любви, без труда, но при этом не утратила она своего веселого, легкого нрава... Я молча слушаю его, срываю придорожные цветы, заботливо соединяю их в букет и... бросаю в медленно струящийся мимо поток, а потом провожаю взглядом до ближайшей излучины... Не помню, писал ли я тебе, что Альберт останется в здешних краях, получив должность и изрядное жалованье от двора, при котором принят он более чем благосклонно. Не много видел я людей, могущих сравниться с ним в основательности и усердии к делам.

12 августа

Да, несомненно, Альберт — лучший из людей в подлунном мире. Вчера вышла у нас с ним удивительная сцена. Я заехал к нему, чтобы проститься: мне пришла охота отправиться верхом в горы, откуда я тебе и пишу; и вот, расхаживая взад-вперед по его комнате, вдруг обратил я внимание на его пистолеты.

— Не одолжишь ли мне на дорогу свои пистолеты? — сказал я.

— Сделай милость, — отвечал он, — если возьмешь на себя труд зарядить их; у меня висят они лишь *pro forma*¹⁸.

Я снял со стены один пистолет; он между тем продолжал:

— С тех пор как моя осторожность сыграла со мной коварную шутку, я решил вовсе не брать их в руки.

Я изъявил желание услышать сию историю.

— Однажды прожил я месяца четыре у одного приятеля в деревне, — стал он рассказывать. — Среди вещей моих была пара незаряженных карманных пистолетов, и я спал спокойно. Однажды в дождливый полдень, праздну сидя в комнате, надумал я вдруг, сам не знаю как, зарядить оружие,

¹⁸ «Ради формы», для видимости (*лат.*) (Прим. переводчика)

рассудив, что сия мера окажется нелишнею, если кому-нибудь вздумается напасть на нас. Ты ведь знаешь, как это бывает. Я дал их слуге, приказав вычистить и зарядить. Он же принялся дурачиться с девушками и пугать их; один пистолет каким-то чудом возьми да и выстрели, а в стволе оказался шомпол, который и угодил одной девушке в правую руку, повредив большой палец. Вдобавок к отчаянным крикам, слезам и причитаниям мне выпало еще и удовольствие оплатить услуги лекаря. С той поры я держу оружие незаряженным. Друг мой, какой прок в осторожности? Опасность ею не отвратишь! А впрочем...

Как тебе уже известно, я люблю его, и все в нем устраивает меня, если не считать этих «впрочем»... Ведь само собою разумеется, что всякое общее правило имеет и исключения. Но уж таков этот человек! Решив, что сказал нечто необдуманное, нечто чересчур общее, некую полуистину, он тотчас спешит с оговорками, уточнениями, разъяснениями и прибавлениями и не успокоится, пока от сути не останется и следа.

Он и в этот раз сильно углубился в предмет; в конце концов я перестал слушать и вдруг забавы ради приставил пистолет ко лбу.

— Фу! — воскликнул Альберт, отнимая у меня пистолет. — Что за ребячество!

— Но ведь он не заряжен, — оправдывался я.

— И что же из того? — сердито молвил он. — Я не могу даже думать о том, что люди способны дойти до такого безумия, чтобы застрелиться! Одна лишь мысль об этом вызывает во мне отвращение!

— Удивительные существа, эти «люди», раз уж мы заговорили о них! — воскликнул я. — Как скоры они на определения: «это — безумие, а это — умно, это хорошо, а это дурно»!.. Какой прок от определений? А подумали ли эти «люди» о скрытых предпосылках того или иного поступка? Знают ли они наверное причины, по которым сей поступок был совершен и даже *должен* был быть совершен? Будь так, они не стали бы торопиться со столь категоричными суждениями!

— Однако ты не можешь не признать, — отвечал Альберт, — что иные поступки по самой сути своей порочны, независимо от причин, по которым они были совершены.

Я кивнул, пожав плечами.

— Но и здесь, дорогой мой, — поспешил я прибавить, — встречаются исключения. Верно, воровство есть порок; но если человек выходит с дубинкою на большую дорогу, чтобы спасти от голодной смерти себя и своих близких, — чего он заслуживает, сострадания или кары? Кто первым бросит камень в супруга, который в приступе праведного гнева предает смерти свою неверную жену и ее недостойного соблазнителя? Или в падшую девушку, которая в минуту искушения не нашла в себе достаточно сил противиться могучему призыву любви? Даже наши хладнокровные, глухие к мольбам судии порой смягчаются и отменяют наказание.

— Это совсем другое, — сказал Альберт, — потому что человек, увлекаемый своими страстями, теряет рассудок и уже не властен над собой, и мы смотрим на него как на пьяного, как на безумца.

— О, благоразумные! — воскликнул я с улыбкою. — Страсть! Опьянение! Безумие! Вы смотрите на все это с такой невозмутимостью, так безучастно, вы, поборники нравственности, браните пьяницу, презираете безумца, проходите мимо, как пастор, и благодарите Бога, как фарисей, за то, что вы не такие, как они. Я не раз бывал пьян, страсти мои часто приводили меня на грань безумия, но я не раскаиваюсь ни в том, ни в другом; ибо это помогло мне понять, отчего людей выдающихся, создающих нечто великое, нечто кажущееся невозможным, собратья их всегда рады были объявить пьяницами и безумцами.

То же и в обычной жизни: горько видеть и слышать, как любой более или менее вольный, благородный, неожиданный поступок немедленно становится поводом для возмущения: «Да он пьян! Да он сумасброд!» Стыдитесь, трезвенники! Стыдитесь, мудрецы!

— Ну вот, опять ты со своими фантазиями! — отвечал Альберт. — Ты все преувеличиваешь, а между тем ты неправ уже хотя бы в том, что самоубийство, о коем идет у нас речь, сравниваешь с великими деяниями, ибо оно есть не что иное как слабость. Разумеется, легче умереть, нежели стойко нести бремя жизни, полной тягот и лишений.

Я готов был уже оборвать разговор, поскольку терпеть не могу, когда собеседник на мою искренность и горячность отвечает пустыми прописными истинами.

Однако я сдержался, так как подобные рассуждения не были мне в диковинку и уже не злили меня, как прежде.

— Ты называешь это слабостью? — возразил я оживленно. — Сделай одолжение, не суди по одной лишь внешней стороне явления. Назовешь ли ты слабым народ, стонущий под непосильным игом тирана, если он в конце концов, не выдержав, восстает и разрывает свои цепи? Человек, объятый ужасом, оттого что в доме у него вспыхнул пожар, напрягает все свои силы и с легкостью выносит из огня тяжести, кои в обычных условиях едва ли сдвинул бы с места; или другой, придя в ярость от нанесенного ему оскорбления, бросается один на шестерых и одолевает их — это, по-твоему, тоже слабость? Друг мой, если напряжение есть сила, то отчего же чрезмерное усилие должно быть ее противоположностью?

Альберт, посмотрев на меня, сказал:

— Не сердись на меня, но примеры, приведенные тобой, кажутся мне весьма неудачными.

— Возможно, — ответил я. — Мне не раз доводилось слышать критику по адресу моей манеры изъясняться, которая будто бы временами напоминает пустую болтовню. Давай же попробуем иным способом вообразить чувства человека, решившегося сбросить для многих иных весьма приятное бремя жизни. Ибо лишь проникнувшись сочувственным пониманием, обретаем мы право судить о том или ином деле. Человеческая

природа имеет свои пределы: она способна переносить радости, боли, страдания лишь до определенной степени и гибнет, как только они превышают допустимый предел. Стало быть, вопрос не в том, силен или слаб человек, но в том, достанет ли у него сил вытерпеть меру выпавшего ему страдания, будь то душевные или телесные муки. И по моему мнению, объявлять самоубийцу трусом столь же нелепо, сколь непозволительно винить в малодушии человека, умершего от горячки.

— Парадоксально! Слишком парадоксально! — воскликнул Альберт.

— Не так уж парадоксально, как тебе кажется, — сказал я. —

Согласись, смертельною болезнью мы называем то состояние человека, при котором природа его настолько поражена, что силы отчасти истощены, отчасти подорваны и не могут уже восстановить прежнего, обычного течения жизни, произведя некий благотворный переворот.

А теперь, дорогой мой, перенесем это в область духа. Посмотри на человека во всей ограниченности его сил и возможностей, на то, как действуют на него впечатления, как идеи овладевают всеми его помыслами и час от часу растущая страсть в конце концов лишает его рассудка и ведет в погибель.

Как бы отчетливо ни видел невозмутимый, благоразумный человек опасное состояние своего ближнего, тщетны будут любые попытки его увещевать несчастного! Так же как тщетны будут старания здорового человека, стоящего у постели больного, вдохнуть в страждущего хотя бы каплю бодрости.

Альберт объявил все это слишком отвлеченными рассуждениями. Я напомнил ему о девушке-утопленнице, которую недавно выловили в реке, и повторил ее историю.

— Славное, юное существо, выросшее в удушающе тесном кругу каждодневных хозяйственных хлопот, в беспросветном домашнем рабстве, не знавшее иных радостей, кроме воскресных прогулок в скромном, доставшемся ценою долгих усилий уборе, в обществе таких же неизбалованных судьбою подруг, да, пожалуй, танцев по большим праздникам, а еще живейшее участие в женских пересудах, коих предметом обыкновенно служит какая-нибудь ссора или сплетня... И вот пламенная натура ее чувствует вдруг таившиеся доселе желания, день за днем возбуждаемые лестью мужчин; прежние радости кажутся ей уже скучны, и наконец она встречает человека, к коему ее неудержимо влечет неведомое ей чувство и с коим она отныне связывает все свои чаяния, позабыв обо всем на свете, не слыша и не видя ничего вокруг, не чувствуя ничего, кроме него, единственного, неповторимого, сгорая от тоски по нему. Не испорченная пустыми забавами, привычными для ветреных кокеток, она устремляется к цели своей страсти прямою дорогой, она желает принадлежать ему, в вечном союзе с ним познать всю глубину счастья, коего ей так недостает, насладиться разом всеми радостями, по которым истомилось ее сердце. Расточаемые ее избранником обеты, которые укрепляют ее в самых смелых надеждах, пылкие ласки, разжигающие ее вожделение, совершенно

ослепляют ее душу. Сознание ее затуманено, она словно парит над землей в предвкушении долгожданного блаженства, напряжение ее доходит уже до высшей своей степени; наконец, она простирает руки, чтобы объять мечту... и тут избранник покидает ее... Окаменевшая, объятая ледяным бесчувствием, стоит она на краю пропасти; вокруг один лишь мрак, нет ни проблеска надежды, ни искры утешения, ни путеводной звезды! Ведь ее покинул тот, в ком полагала она всю свою жизнь. Она не видит бескрайнего мира, раскинувшегося перед нею, не видит многих других, могущих восполнить ее утрату, она чувствует себя одинокой, покинутой всеми на свете — и вот, в слепоте своей, раздавленная страшной бедой, бросается она вниз, чтобы задушить свою боль в лоне смерти... Вот, Альберт, эта история случалась уже со многими! Скажи мне, разве это не подобно болезни? Природа не находит выхода из лабиринта спутавшихся, противодействующих друг другу сил, и человек умирает. И горе тому, кто, глядя на эту трагедию, говорит: «Безумица! Стоило ей немного подождать, довериться времени, и отчаяние отступило бы; другой пришел бы и утешил ее». Это все равно что сказать: «Безумец! Умер от горячки! Стоило ему немного подождать, пока силы его вернуться, жизненные соки вновь придут в равновесие, уляжется волнение крови — и все было бы хорошо, и он жил бы по сей день!».

Альберт, которому и это сравнение показалось неубедительным, принялся возражать мне и в числе прочих аргументов привел следующий: я говорил всего лишь об одной простодушной девушке; человеку же разумному, не столь ограниченному, который видит шире и глубже, он при всем желании не находит оправдания.

— Друг мой! — воскликнул я. — Человек есть человек, и те крохи разума, коими располагает тот или иной, либо вовсе бесполезны, либо не играют особой роли, когда разгорается страсть и теснит его к границе человеческой природы. Тем паче, ежели... Но об этом в другой раз, — сказал я и схватился за шляпу.

Сердце мое было переполнено от избытка чувств, и мы расстались, так и не поняв друг друга. Что, впрочем, неудивительно, ибо понимание меж людей всегда было редкостью.

15 августа

Поистине ничто на свете так не повышает ценность человека, как любовь. Я чувствую, что Лотта не хотела бы потерять меня, да и дети не мыслят уже своего существования без моего каждодневного присутствия. Сегодня я приехал в замок, чтобы настроить ее фортепьяно, однако до этого дело так и не дошло, поскольку дети неотступно ходили за мною по пятам, требуя рассказать им сказку. В конце концов Лотта сама посоветовала мне исполнить их просьбу. Я рассказал им любимую их сказку о принцессе, которой прислуживали одни руки без тела. Уверяю тебя, что в роли сказочника я многому у них учусь и не перестаю удивляться тому действию,

которое на них производит услышанное. Порою, рассказывая им какую-нибудь сказку во второй раз, я забываю ту или иную деталь, которую сам же выдумал на ходу, и заменяю ее другой, но они тотчас же поправляют меня, указывая, что в прошлый раз было иначе, так что мне теперь приходится учиться рассказывать их в неизменном виде, одним и тем же тоном, нараспев. На этом примере, я пришел к полезному заключению, что вторым, исправленным изданием, автор неизбежно вредит своему произведению, как бы ни шлифовал и ни оттачивал он его форму. Первое впечатление всегда ярче и отчетливей последующих; человек устроен так, что охотно верит в любые небылицы, и они так быстро и прочно укореняются в его сознании, что напрасны будут все попытки изгладить или вытравить их!

18 августа

Отчего же так бывает в жизни, что источник блаженства превращается в источник страданий?

Широкое, горячее чувство упоения живой природой, возносившее меня на лучезарные высоты, превращавшее окружающий мир в рай, теперь обернулось для меня невыносимой мукой, злым духом, преследующим меня повсюду. Прежде, когда я обзирал с высокой скалы холмы за рекой и зеленую равнину и все распускалось и цвело; когда я видел горы, от подножия до вершин покрытые высоким густым лесом, маленькие долины, осеняемые светлыми рощами, а тихоструйная река медленно катила свои воды меж сонно лепечущих тростниковых зарослей, отражая жемчужные паруса облаков, раздуваемых ласковым дыханием вечернего ветра; когда я слушал пение птиц под пологом леса или наблюдал пляску несметных полчищ крохотных мошек в багровых лучах заходящего солнца, последний отблеск которого высвечивал в траве гудящего жука, и жужжание и таинственное потрескивание вокруг притягивало мой взор к земле, и мох под моими ногами, упорно добывающий скудную пищу из непроницаемой скалы, и сухой кустарник, ползущий по песчаному склону холма, открывали мне сокровенную, пламенную, священную жизнь природы, — я заключал все это в свое горячее сердце, чувствовал себя божеством посреди этого бьющего через край изобилия, и дивные образы бесконечного мира множились в моей душе, оживляя и расцветивая все вокруг. Мрачные скалы обступали меня, бездны разверзались у моих ног, стремительные ручьи низвергались с горных уступов, неслись мимо реки, шум лесов и рокот гор наполняли мой слух; и я видел их ни на миг не прекращающееся созидательное взаимодействие и взаимослияние в темных земных недрах, все эти непостижимые силы, а над землей и в поднебесье — тысячеликое сонмище многообразных живых тварей; я видел людей, робко льнувших друг к другу и ищущих защиты и убежища в своих крохотных домиках, неутомимо вьющих свои гнезда и полагающих, что они властвуют над миром! Бедные глупцы, коим все видится мелким, поскольку сами они так малы!.. От неприступных вершин и пустынь, куда не ступала нога человека, до края неведомого океана реет дух

Предвечного Творца, Радующегося каждой пылинке, внимающей и покорствующей Ему. Ах, как часто в ту пору я с завистью смотрел на летящих мимо журавлей, вождедея перенестись с ними на другой берег бескрайнего моря, испить из пенного кубка бесконечности, отведать кипучего напитка иной, высокой жизни и хотя бы на миг ощутить в груди своей, сдавленной болезненным сознанием бессилия, драгоценную влагу и ощутить блаженство существа, творящего в себе и через себя.

Брат, лишь воспоминания о тех минутах служат мне теперь отрадой. Даже одно уже только усилие воскресить в душе ту невыразимую жажду, вновь попытаться облечь ее в слова возвышает мою душу, чтобы тут же дать мне с удвоенною остротой ощутить мучительность состояния, в коем я ныне пребываю.

Перед моею душой словно подняли занавес, и зрелище вечной жизни превращается на моих глазах в черную бездну вечно разверстой могилы. Можешь ли ты сказать: «*Это есть!*», когда все проходит? Когда все проносится мимо со скоростью урагана, не исчерпав и половины своего бытия, увлеченное бурным потоком, исчезает в волнах, а затем вдребезги разбивается о скалы? Ни на мгновенье не прекращается в тебе и в твоих близких разрушительная работа, ни на мгновенье не перестаешь ты сам быть разрушителем: безобидная прогулка твоя стоит жизни тысячам бедных букашек, один лишь твой шаг уничтожает строение, с таким трудом воздвигнутое муравьями, и обращает в могилу крохотный мир. О нет, великие земные бедствия, все эти потоны, смывающие ваши деревни, землетрясения, равняющие ваши города с землей, меня нимало не трогают; меня гнетет мысль о разрушительной силе, заключенной в каждой частичке мироздания, силе, которая не создала ничего, что не разрушало бы своего ближайшего окружения, не разрушало бы самое себя. Я содрогаюсь от ужаса, стоя меж небом и землей, в самой средоточии этих вечно взаимодействующих и противоборствующих сил; я ничего не вижу, кроме всеядного, всепоглощающего чудовища, ни на мгновенье не прекращающего свой страшный пир.

21 августа

Тщетно простираю я к ней руки утром, медленно всплывая из глубин тяжелых сновидений, тщетно ищущу я ее на своем ложе ночью, еще во власти сладкого обмана, навеянного счастливым, целомудренным сном, в котором я сидел с ней на лугу, покрывая ее руку поцелуями. Ах, когда я, еще одурманенный ночными миражами, тянусь к ней в полусне, а затем пробуждаюсь, из бедного сердца моего вдруг изливаются потоки непрошенных слез, и я безутешно плачу, вперив внутренний взор в беспросветную даль своего будущего.

22 августа

Это истинная мука, Вильгельм — я впал в какое-то тревожное оцепенение, мою деятельную натуру словно разбил паралич: я не могу сидеть праздно, но и не в силах что-либо делать. Я утратил воображение, стал безучастен к природе, книги вызывают во мне отвращение. Теряя себя, мы теряем все. Клянусь тебе, порою мне хочется быть поденщиком, только чтобы, проснувшись утром, видеть хотя бы одну, простую, ясную цель, связанную с грядущим днем, иметь хотя бы одно стремление, хотя бы одну надежду. Я часто завидую Альберту, глядя, как он сидит, погруженный с головою в бумаги и документах, и тешу себя иллюзией, что будь я на его месте, мне было бы легче! Не раз уже, поддавшись внезапному порыву, хотел я писать к тебе и к министру и добиваться должности при посольстве, в коей, как ты уверял меня, мне не будет отказано. Я и сам верю в это. Министр очень добр ко мне и давно уже склоняет меня к тому, чтобы я занялся каким-нибудь делом. Всякий раз я ношусь с этой мыслью некоторое время, но стоит мне затем вспомнить басню про коня, который, пресытившись свободой, предпочел ей седло и уздечку и был загнан насмерть¹⁹, — как вновь впадаю я в нерешительность... К тому же, милый друг, как знать, не есть ли моя жажда перемены положения всего лишь внутренняя, неизбежная тоска, которая станет преследовать меня повсюду?

28 августа

Нет сомнений, если бы болезнь моя была излечима, эти люди непременно избавили бы меня от страданий. Сегодня день моего рождения, и вот чуть свет получаю я посылочку от Альберта. Еще вскрывая ее, с радостью обнаружил я один из розовых бантов, которыми было украшено платье Лотты, когда я впервые увидел ее, и которые с того дня не раз у нее выпрашивал. В посылке оказались две книжечки в двенадцатую долю листа, Гомер в ветштейновском издании²⁰, которым давно я хотел уже обзавестись, чтобы не таскать с собою по окрестностям эрнестиевы фолианты²¹. Вот видишь, как предваряют они мои желания, как щедро осыпают меня маленькими услугами и знаками дружбы, стократ ценнее роскошных подарков, коими даритель в своем тщеславии унижает нас. Я непрестанно целую этот бант, упиваясь воспоминаниями о сладостнейших минутах, которыми так полны были те немногие счастливые, невозвратимые дни. Так уж случилось, Вильгельм, и я не ропщу, цветы жизни суть лишь мимолетные видения! Сколько их вянет и обращается в прах, не оставив и следа, лишь немногие производят плод, а многим ли плодам суждено созреть?.. И все же они есть, брат, и их не так уж мало! Так можем мы ли пренебрегать

¹⁹ Гете, вероятно, имеет в виду басню Стесихора о коне и олене, пересказанную Эзопом. (Прим. переводчика)

²⁰ Книги Гомера карманного формата, выпущенные амстердамским издательством И. Г. Ветштейна в 1707 г. (Прим. переводчика)

²¹ Иоганн Август Эрнести (1707-1781) — профессор классической филологии в Лейпциге. В период 1759-1764 гг. им был издан пятитомник Гомера с параллельными текстами: греческим и латинским. (Прим. переводчика)

созревшими плодами, отказываться от них, предоставляя им вотще обратиться в тлен?

Прощай! Лето выдалось чудесное; я часто забираюсь на плодовые деревья в саду Лотты с длинным шестом и снимаю зрелые груши, а она стоит внизу и принимает их у меня.

30 августа

Увы мне, несчастному глупцу, предающемуся самообману! К чему эта буйная, бесконечная страсть? Я молюсь уже ей одной; воображение мое рисует мне лишь ее образ, и все вокруг существует для меня лишь в той мере, в какой оно связано с нею. Эта одержимость дарит мне порою несколько счастливых минут, а затем вновь гонит от нее прочь! Ах, Вильгельм! Если б ты знал, какими искушениями мучает меня порой мое собственное сердце! Проведя у ней два, три часа, налюбовавшись ее обликом, ее жестами, насладившись небесной музыкой ее слов, приблизившись к последней степени напряжения всех чувств, когда в глазах темнеет, все звуки доносятся как бы издалека, а в горло словно вливается рука безжалостного убийцы, и сердце бешено колотится в груди, спеша на помощь чувствам, но вместо того только усиливает их смятение... — Вильгельм, в такие минуты я уже не отдаю себе отчет, где я и что со мной! Порою, когда тоска оказывается сильнее моей воли и Лотта вовремя не успевает доставить мне утешение, позволив выплакать у нее на ладонях подступившую боль, я в отчаянье бросаюсь прочь, куда глаза глядят, радуясь любой крутой вершине или непроходимой чаще, терновнику, рвущему мое платье, шипам, впивающимся в мое тело! И тогда мне становится немного легче! Но лишь немного! Иногда, изнемогая от усталости и жажды, я ложусь прямо на землю или глубокой ночью, в глухом лесу, озаренном призрачным сиянием месяца, сажусь на искривленный ствол дерева, чтобы дать хоть сколько-нибудь отдыха своим стертым до крови ногам, и забываюсь недолгим тревожным полусном... О Вильгельм! Одинокая хижина отшельника, власяница и вериги показали бы мне теперь блаженством! Прощай. Я не вижу иного конца своим мукам, кроме могилы.

3 сентября

Я должен уехать! Благодарю тебя, Вильгельм, за то, что ты утвердил меня в моем незрелом намерении. Уже две недели вынашиваю я эту мысль покинуть ее. Я должен уехать! Она опять в городе, у подруги. А Альберт... и... Я должен уехать!

10 сентября

Что за ночь! Вильгельм! Теперь мне все по плечу. Я больше не увижу ее! О, как бы мне хотелось броситься тебе на грудь, дорогой друг мой, и

поведать в слезах восторга о чувствах, переполняющих мое сердце! Вместо этого я сижу здесь, задыхаясь от волнения и тщетно пытаюсь успокоиться, а утром, на рассвете, подадут лошадей.

Она покойно спит и не знает, что никогда больше не увидит меня. Я сумел оторваться от нее, я нашел в себе силы в продолжение двухчасового разговора не выдать своего намерения. Но боже, что это был за разговор!

Альберт обещал мне тотчас же после ужина вместе с Лоттой дожидаться меня в саду. Я стоял на террасе под высокими каштанами и в последний раз провожал взглядом заходившее за тихой рекою и зеленою долиной солнце. Сколько раз я вместе с нею любовался отсюда этим величественным зрелищем и вот...

Я ходил взад-вперед по любимой аллее; когда-то, еще до того, как я впервые увидел Лотту, тайная магнетическая сила часто влекла меня сюда, а потом, вначале нашего знакомства, мы оба радовались, обнаружив общую привязанность к этому уголку природы, поистине одному из самых романтических рукотворных пейзажей, какие мне когда-либо доводилось видеть.

Прежде всего — это широкий вид, открывающийся меж каштанами. Впрочем, кажется, я уже не раз писал тебе о том, как высокие стены, образуемые стройными шеренгами буков, обступают посетителя и аллея становится все темнее из-за примыкающего к ней боскета, пока наконец не упирается в маленькую, закрытую со всех сторон площадку наподобие просторной беседки, от которой веет зловещим холодом одиночества. Я до сих пор помню священный трепет, охвативший меня, когда я впервые забрел в сей заколдованный уголок; в тот жаркий полдень в груди моей шевельнулось смутное предчувствие, что зеленые кущи эти однажды станут свидетелем и сладких нег моих и горьких мук. Я уже около получаса предавался болезненному упоению мыслями о скорой разлуке и грядущей встрече, как на ступенях террасы послышались их шаги. Я бросился им навстречу, с трепетом схватил ее руку и припал к ней губами. Едва мы поднялись вверх, как из-за холма, поросшего кустарником, выглянул месяц; говоря о том, о сем, мы незаметно приблизились к темной «беседке». Лотта вошла внутрь и села на скамью, мы с Альбертом последовали ее примеру, но, от волнения не в силах усидеть на месте, я вскочил, встал перед ними, прошелся взад-вперед, вновь сел — состояние мое было угрожающим. Лотта обратила наше внимание на дивную игру лунного света, озарившего террасу в конце букового «коридора» — великолепное зрелище, которое было тем поразительней, что вокруг нас царил глубокий, непроницаемый мрак. Мы молчали.

— Всякий раз, когда я гуляю при свете луны, — вновь заговорила Лотта через некоторое время, — ко мне непременно приходят мысли о наших умерших близких, всякий раз меня переполняют чувства, связанные со смертью и с тем, что ждет нас за гробом... Мы не исчезнем! — воскликнула она звенящим от восхитительного волнения голосом. — Но, скажите, Вертер,

увидимся ли мы вновь, узнаем ли мы друг друга? Что говорит вам ваше чувство? Что подсказывает вам ваша интуиция?

— Лотта, — отвечал я, взяв ее руку и чувствуя, как подступают слезы. — Мы увидимся! Увидимся и здесь, и там!

Я умолк, не в силах продолжать. Вильгельм, вообрази, каково мне было услышать это именно в те минуты, когда в сердце моем уже поселилась боль разлуки!

— А знают ли о том наши близкие, покинувшие нас? — продолжала она. — Чувствуют ли они наши радости и тревоги, чувствуют ли, что мы поминаем их с горячей любовью? О, образ моей матушки всегда рядом со мною, когда я сижу посреди ее детей, посреди *моих* детей, и они льнут ко мне, как прежде льнули к ней. Когда я поднимаю затуманенный слезами взор к небу, желая, чтобы она хоть на мгновение увидела нас, увидела, как я держу слово, данное ей в час смерти, быть матерью ее детям, — с какой болью молю я ее: «Прости, родная моя, если я не умею быть им тем, чем была им ты! Ах, ведь я делаю все, что в моих силах: они одеты, сыты и, что еще важнее, ухожены и любимы. Если бы ты могла видеть наше согласие, любимая моя, святая! Ты горячо восхвалила бы Господа, Которого в последней своей, предсмертной, слезной мольбе просила о счастье своих детей.

Так она говорила! О, Вильгельм, кому под силу повторить сказанное ею? Как могут холодные, мертвые глаголы живописать эти небесные цветы духа? Альберт ласково прервал ее:

— Милая Лотта, пощадите себя! Я знаю вашу склонность к мыслям подобного рода, но прошу вас!..

— О, Альберт, — сказала она, — ты ведь помнишь те вечера, когда мы втроем сидели за маленьким круглым столиком, проводив в дорогу папá и уложив малышей спать. Ты часто приносил с собою какую-нибудь хорошую книгу, но до чтения ли было рядом с нашей доброй матушкой? С этой славной, нежной, веселой и не знающей праздности душой! Одному Богу известно, сколько раз по ночам бросалась я пред Ним на колени, умоляя сделать меня похожею на нее.

— Лотта! — вскричал я и, бросившись перед нею на колени, припал к ее руке, орошая ее слезами. — Лотта! Благословение Господа и дух твоей матушки да не покинут тебя!

— Ах, если бы вы знали ее! — отвечала она, пожимая мне руку. — Она была достойна знакомства с вами!

Я едва не лишился рассудка при этих словах. Никогда еще не слышал я более лестных, более окрыляющих слов, обращенных ко мне.

— И этой женщине суждено было уйти в расцвете лет, когда ее младшему сыну не исполнилось еще и шести месяцев!.. — продолжала она. — Болезнь ее продлилась недолго; она оставалась спокойна и принимала свою участь с покорностью, вот только мысли о детях, особенно о младшем, причиняли ей боль. Когда конец ее приблизился и она сказала: «Приведи их ко мне!», я исполнила ее просьбу; они вошли в ее комнату, малыши, ничего

не понимавшие, и старшие, убитые горем, и обступили ее кровать, и она благословила и поцеловала каждого, а потом, отослав их, сказала мне: «Будь им матерью!» Я поклялась ей в том. «Это нелегкое бремя, дочь моя, — сказала она. — Но ты чувствуешь, что значит материнское сердце и материнское око, я не раз видела это по благодарным слезам в твоих глазах. Дай же братьям и сестрам твоим и то и другое, а отцу — верность и послушание. Это станет ему утешением». Она спросила о папá; отца же в те минуты не было дома: он ушел, чтобы спрятать от нас свою невыносимую боль, раздиравшую ему сердце.

Альберт, ты был тогда в соседней комнате. Услышав твои шаги и узнав, что это ты, она просила позвать тебя, и когда ты вошел, она посмотрела на нас с тобой спокойным, просветленным взором, в котором была вера в наше счастье, в наше общее счастье...

Тут Альберт порывисто обнял Лотту, поцеловал ее и воскликнул:
— И мы счастливы! Мы будем счастливы!

Даже спокойный, рассудительный Альберт пришел в чрезвычайное волнение, я же и вовсе не помнил себя.

— Вертер, — молвила Лотта, — и этой женщине выпала такая доля! Когда я вспоминаю, как на наших глазах уносили самое дорогое нашему сердцу и никто не чувствовал это так остро, как дети, которые потом еще долго горестно сетовали, что черные дяди унесли их маму!..

Она встала, я же, придя в себя, остался сидеть, не выпуская ее руки из своей.

— Уже поздно, — сказала она. — Пора возвращаться.

Она хотела высвободить свою руку, но я еще крепче сжал ее.

— Мы увидимся! — воскликнул я. — Мы непременно найдем и узнаем друг друга среди любого множества лиц и образов! Я уйду, уйду по доброй воле, но если бы мне надобно было сказать: «навсегда», у меня не достало бы сил. Прощай, Лотта! Прощай, Альберт! Мы еще увидимся...

— Надо полагать, завтра, — заметила она шутливо.

Как больно отозвалось в моем сердце это «завтра»! Она же, отнимая руку, не знала, что...

Они пошли по аллее, залитой лунным светом, а я, проводив их взглядом, бросился наземь и выплакал свою боль, затем вскочил, добежал до террасы, успел еще увидеть, как мелькнуло внизу, у калитки, в тени высоких лип, ее белое платье, вскинул руки — и оно исчезло.

Книга вторая

20 октября 1771 г.

Вчера достигли мы цели нашего путешествия. Посланник нездоров и должен будет несколько дней отдохнуть. Все бы ничего, будь он хоть чуточку приветливей. Вижу, вижу, что судьба уготовала мне тяжкие испытания. Однако долой малодушие! С легкою душою можно преодолеть

любые тяготы! С легкою душою?.. Перо мое, похоже, насмехается надо мной! О, одна лишь капля безмятежности сделала бы меня счастливейшим из смертных. Увы! В то время как другие, не имеющие и десятой доли моих сил и дарований, бахвалятся предо мною в упоении своего самодовольства, я терзаюсь сомнением в своих силах, в своем таланте! Господи Многомилостивый, ниспославший мне сии дары, — зачем не довольствовался Ты половиною Своих щедрот и не дал мне вместо них веры в собственные силы и способности довольствоваться малым?

Терпение! Терпение! Все образуется. Ты прав, дорогой друг мой. С тех пор как я живу, всякий день обращаясь среди людей, и вижу их нравы, проделки и плутни, я стал менее взыскателен к себе самому. В самом деле, коль скоро мы так устроены, что все соотносим с собою, а себя соотносим со всем, то счастье наше или горе зависит от вещей и явлений, окружающих нас, и потому нет для нас ничего более опасного, нежели одиночество.

Воображение наше, по природе своей обреченное на полет к горным высям, питаемое фантастическими образами поэзии, выстраивает некую иерархию, в коей отводится нам последнее место, и всё, кроме нас, представляется нам достойным восхищения и всякий другой человек — совершенством. И это получается само собою. Мы часто чувствуем, что в нас чего-то недостает, и именно то, чего сами мы лишены, склонны мы видеть в другом, которого, к тому же, наделяем и всем, что дано нам самим, а в придачу еще и украшаем невозмутимостью идеала. И вот портрет записного счастливца, плод нашего собственного творчества, готов.

Однако при всей нашей слабости и неуверенности в себе, неустанно трудясь и постепенно подвигаясь вперед, часто замечаем мы, что унылые скитания наши по волнам бытия привели нас дальше тех, кто бодро летел к цели на всех парусах... И, поравнявшись с ними, либо опередив их, мы испытываем благодатное чувство веры в себя.

26 ноября

Я постепенно начинаю осваиваться на новом месте и чувствую себя уже вполне сносно. Более всего доволен я тем, что не сижу без дела. К тому же, меня развлекает множество людей, окружающих меня, новые образы и типы, слагающиеся передо мною в некое пестрое зрелище. Я познакомился с графом К., человеком, коего достоинства день ото дня внушают мне более почтительного уважения; он имеет светлый ум и широкий кругозор, не будучи, однако, оттого холоден и заносчив. Склад речей его, манеры и характер выдают в нем столько искреннего и теплого дружелюбия. Он принял участие во мне, когда я явился к нему по казенной надобности и он с первых слов моих заметил, что мы понимаем друг друга и что он нашел во мне достойного собеседника. Не могу нахвалиться также его открытостью в отношении меня. Нет на свете более высокой, чистой радости, нежели удостоиться доверия богатой души, раскрывающейся тебе навстречу.

Посланник, как я и ожидал, сильно досаждал мне. Он оказался самым педантичным болваном, какого только можно вообразить: все он непременно должен делать по порядку, а в дотошности и въедливости не уступает он и самой сварливой старухе. Это человек, который никогда не бывает доволен собою и которому, стало быть, невозможно угодить. Я привык работать быстро и не люблю буквоедства — как написано, так написано; он же может вернуть мне какую-нибудь бумагу со словами:

— Недурно. И все ж просмотрите еще раз написанное, сколько ни проверяй, а всякий раз найдется, что исправить — там придет на память более подходящее слово, там более меткое выражение.

Я в такие минуты прихожу в бешенство. Ни один союз, ни одно соединительное словечко не ускользнет от его внимания, а уж инверсии, которые нет-нет да и вывернутся у меня из-под пера, действуют на него, как на чертей ладан. И если ты дерзнул пренебречь ролью шарманщика и выстроил фразу вопреки раз навсегда заведенной мелодии, то разум его решительно отказывается понимать ее. Иметь дело с таким человеком — истинная мука.

Доверие графа К. — единственное мое спасение. Давеча он сообщил мне со всею откровенностью, как недоволен он медлительностью и педантизмом посланника.

— Такие люди затрудняют жизнь и себе, и другим, — сказал он. — Однако ж, с этим надобно смириться, как смиряется путник с необходимостью идти в гору. Не будь сей горы, путь, конечно же, показался бы много приятней и короче, но другой дороги нет, стало быть, подъема не миновать!

Старик мой, чуя предпочтение, оказываемое мне графом, злится и не упускает случая в моем присутствии дурно высказаться по его адресу; я, разумеется, тотчас противоречу ему, и отношения наши с ним оттого не становятся лучше. Вчера я особенно возмутился, так как критикою своею он целил и в меня: мол, для простых дел граф вполне годится, он легко управляется с работою, неплохо владеет пером, однако же ему, как и всем господам сочинителям, недостает глубоких знаний. И все сие произнес он с такою миною, как будто желал сказать: «Разве ты не чувствуешь, в чей огород брошен камень?». Но на меня слова его не произвели никакого действия, ибо я презираю людей, способных так мыслить и вести себя. Я не замедлил парировать сей выпад и дал ему решительный отпор, заявив, что граф несомненно заслуживает всяческого уважения, как своим характером, так и своими знаниями.

— Я не встречал доселе человека, — сказал я, — коему посчастливилось бы столь успешно изощрить свой ум, охватить им бесчисленное множество предметов и не менее успешно пользоваться им в повседневной жизни.

Но для его мозгов это китайская грамота, и потому я поспешил откланяться, дабы не портить себе кровь, выслушивая новые нелепицы.

И сей напастью обязан я вам, загнавшим меня в это ярмо своими увещеваниями и проевшим мне плешь своими гимнами о пользе труда. Труд! Да в сравнении с крестьянином, который сажает картофель и возит в город на продажу зерно, я просто бездельник. А если ты скажешь, что я не прав, то я готов еще десять лет провести на сей галере, к коей прикован пудовою цепью.

А этот блеск убожества, смертная скука при виде дрянных людишек, копошащихся вокруг! Жажда чинов, хищное стремление опередить соперника хоть на шаг, жалкие, ничтожные страстишки, ничем не прикрытое корыстолюбие! Возьмем для примера одну особу, докучающую всем рассказами о своем благородном происхождении и о земельных угодьях, так что всякий приезжий невольно подумает: вот дура, возомнившая бог весть что о своем худородном дворянстве и о мнимом богатстве своих имений! Но что еще хуже: особа сия — дочь местного писаря... Нет, разум мой отказывается понимать сей сорт людей, готовых добровольно срамить себя столь диким способом.

Впрочем, друг мой, день ото дня вижу я отчетливей, как глупо судить о других по себе. И поскольку мне вполне хватает хлопот с самим собою, а мятежное сердце мое не ведает мира и тишины, я охотно предоставил бы другим идти своею дорогой, если бы только и они с своей стороны оставили меня в покое.

Более всего раздражают меня эти злополучные сословные отношения. Разумеется, я не хуже других понимаю необходимость различий подобного рода, и вижу, какие выгоды сулят они мне самому; если бы они еще не становились обузою, не препятствовали мне обрести те крохи радости, те отблески счастья, которые еще доступны мне на этой земле! Недавно познакомился я во время прогулки с некой фройляйн фон Б., прелестным созданием, поразившим меня необыкновенною живостью характера, которую чудом умудрилась она не растерять среди этой мертвой пустыни. Мы разговорились и понравились друг другу, и, прощаясь, я попросил у ней позволения навестить ее. Она дала свое согласие с такою очаровательной естественностью, что я не мог дожидаться подходящего случая отправиться к ней. Она не из здешних мест и гостит у тетки. Старуха мне не понравилась. Я выказал ей много внимания, в разговоре обращался большею частью к ней и менее чем через полчаса знал о ней почти все, что потом поведала мне сама фройляйн: что любезная тетушка ее живет в нужде, не имея ни ума, ни приличествующего ей состояния, не зная иной опоры, кроме длинной череды предков, иной защиты, кроме своего аристократизма, коим она отгородилась от мира, и иной радости, кроме сомнительного удовольствия презрительно взирать с высоты своей знатности на суетную возню бюргеров. Сказывают, что в молодости она была хороша собою и беззаботно порхала по жизни, муча своею капризами бедных своих поклонников, пока наконец уже в зрелые лета не преклонила гордую выю под иго полной покорности одному

отставному офицеру, столь дорогою ценою купившему себе богатство и скоротавшему с нею за то ее медный век до самой своей смерти. Теперь она доживает в одиночестве свой железный век, который был бы для нее гораздо суровей, если бы не любезность племянницы.

8 января 1772 г.

Что же это за люди, вся душа которых сосредоточена на этикете, а все помыслы и чаяния из года в год устремлены лишь к одному — как бы на званом обеде оказаться хотя бы на одно место ближе к главе стола. А между тем жизнь их не становится от того легче, ибо алчная погоня за чинами отвлекает их от важных дел. На прошлой неделе во время катания на санях разгорелась ссора из-за места, и все удовольствие было испорчено.

Глупцы! Им никак не взять в толк, что вовсе не место красит человека, что тот, кто занимает первое место, редко играет первую скрипку! Подобно тому как министр порою оказывается могущественней короля, а секретарь влиятельней министра! И кто в сем случае по праву может называться первым? Сдается мне, что тот, кто окажется дальновиднее своих соперников и у кого достанет власти или хитрости направить их силы и страсти к осуществлению собственных планов.

20 января

Дорогая Лотта!

Пишу к Вам из бедной каморки на крестьянском постоялом дворе, в коей спасаюсь я от злой непогоды. С той поры как я оказался в унылом захолустье Д., посреди совершенно чуждых моему сердцу людей, не было у меня до сего дня ни разу, ни единого порыва писать к Вам. И вот в этой хижине, в этом одиночестве, в этом снежном плену, где свирепый ветер сыплет град в мое окошко, первая мысль моя была о Вас. Едва переступил я порог комнаты, как перед внутренним взором моим предстал Ваш образ, священный и родной, ожила память о Вас, о Лотта! Хвала Господу! Наконец-то и мне вновь выпал миг счастья!

Если бы Вы видели меня, драгоценная моя, в этом омуте тусклых впечатлений! Душа моя словно выжжена! Ни единого мгновения полноты сердца, ни единой минуты радости! Ничего! Ничего! Я как будто смотрю картинки из «волшебного фонаря», вижу, как двигаются фигурки людей и животных и то и дело спрашиваю себя, не оптический ли это обман. Я и сам чувствую себя такою же фигуркою, сам играю в эту игру, вернее, кто-то играет мною, как марионеткой; время от времени я хватаю за деревянную руку своего соседа и вздрагиваю от ужаса и отвращения. Решив вечером полюбоваться восходом солнца, я не нахожу в себе сил подняться с постели; положив днем непременно отправиться на прогулку ночью, чтобы

насладиться лунным сиянием, я в конце концов остаюсь дома. Я не понимаю, для чего я встаю, зачем ложусь спать.

Мне недостает закваски для брожения моих жизненных сил; таинственный огонь, не дававший мне сомкнуть глаз ночью и пробуждавший меня утром, угас.

Из здешних женщин лишь одна-единственная, некая фройляйн фон Б., достойна внимания и сравнения с Вами, дорогая Лотта, если только это вообще возможно — равняться с Вами. «Смотрите-ка, — скажете Вы, — да он преуспел в науке говорить комплименты!» И вы недалеки от истины. Я с некоторых пор сделался очень любезен, потому что ничего другого мне не остается, блистаю остроумием, и дамы находят, что мне нет равных в искусстве тонкой лести (и лжи, прибавите Вы, ибо одно без другого не обходится, не правда ли?). Однако я намеревался поговорить о фройляйн фон Б. В ней много душевности, которая светится в ее голубых глазах. Знатность ее ей в тягость, ибо не может удовлетворить ни единого из ее желаний. Она мечтает вырваться из этой городской сутолоки, и мы порою часами предаемся идиллическим фантазиям на тему сельской жизни; и представьте, много говорим о Вас! Она искренне восхищается Вами, охотно слушает мои рассказы о Вас, любит Вас!..

О, как бы мне хотелось сидеть у Ваших ног в милой, уютной комнатке, смотреть, как наши славные малыши резвятся вокруг меня, а когда они не на шутку расшались, утихомирить их какой-нибудь страшною сказкой. Но солнце восходит уже во всем своем великолепии над сверкающими снежными просторами, метель улеглась, и мне пора возвращаться в свою клетку. Прощайте! С вами ли Альберт? И как...? Да простит мне Господь этот вопрос!

8 февраля

У нас уже восемь дней держится наиотвратительнейшая погода, которую приветствую я всею душой. Ибо во все время моего пребывания здесь не знал я ни единого светлого, погожего дня, который бы кто-нибудь не омрачил или не испортил вовсе. И потому, если за окном дождь, метель, стужа или оттепель, я торжествую: стало быть, дома уж никак не может быть хуже, нежели на дворе, или наоборот, и слава Богу! Восходит солнце, обещая чудесный день, — я всякий раз с злорадством говорю себе: «Вот и еще один Божий дар, коего они могут лишить друг друга! Им непременно надобно лишить друг друга всего, что только можно отнять: здоровья, доброго имени, радости, покоя! И все это по обыкновению делается из глупости, непонимания, узости взглядов и, если их послушать, из лучших побуждений. Порою мне хочется на коленях умолять их не вредить самим себе с таким усердием.

17 февраля

Боюсь, что нам с посланником недолго уж осталось терпеть общество друг друга. Этот человек совершенно несносен. Его способ работать и вести дела настолько нелеп, что я невольно противоречу ему и часто поступаю по собственному усмотрению, что, конечно же, не может не вызывать в нем недовольства. Недавно он нажаловался на меня при дворе, и министр сделал мне хотя и мягкий, но все же выговор; я готов был уже просить отставки, как неожиданно получил от него приватное письмо, в коем он настолько поразил меня своим великодушием и благородством, своей мудростью, что я благоговейно снимаю пред ним шляпу²². Как ласково он журил меня за мою чрезмерную чувствительность, как тонко увещевал, отдавая должное моим сумасбродным идеям об истинной пользе, о влиянии на других, о подлинном рвении в делах и, видя в них лишь юношеский задор, отнюдь не стремился искоренить их, но желал лишь смягчить и направить их в иное русло, где бы они нашли себе достойное применение и возымели бы наибольшее действие. Теперь я на целую неделю укрепился духом и пришел в согласие с самим собой. Душевное спокойствие и вера в себя суть великое благо. Ах, друг мой, если бы сие сокровище было еще столь же прочно и долговечно, сколь оно прекрасно и ценно!

20 февраля

Да благословит вас Бог, дорогие мои, да ниспошлет Он вам все те счастливые дни, коих лишил меня!

Благодарю тебя, Альберт, за твой обман: я ждал известия о вашей свадьбе, положив в этот день торжественно снять со стены силуэт Лотты и погрести его среди прочих бумаг. Итак, теперь вы — супруги, а образ ее все еще здесь! Так пусть же он остается! Почему бы и нет? Я знаю, что и я незримо присутствую в вашей жизни, занимаю не во вред тебе скромное место в сердце Лотты; да, это лишь второе место в нем, но я желал бы и должен сохранить его за собою. О, я сошел бы с ума, если бы она забыла меня! Альберт, эта мысль для меня — сущий ад! Прощай, Альберт! Прощай, Лотта! Прощай мой ангел!

15 марта

Со мною приключилась одна неприятность, из-за которой придется мне уехать отсюда. От досады я скриплю зубами! Проклятье! Случившегося уже не исправишь, а виноваты во всем вы, принудившие меня своими увещеваниями, подстрекательствами и домогательствами вступить в службу, противную моей натуре. И вот мне награда! И вот *вам* награда! И дабы ты вновь не сказал, что все портят мои сумасбродные идеи, привожу тебе здесь,

²² Из уважения к сему достопочтимому господину мы изъяли упомянутое письмо, равно как и другое, о коем речь идет ниже, из настоящего архива и не намерены опубликовать оное, поскольку подобную дерзость не искушил бы и самый горячий интерес читателей.

милостивый государь, краткую повесть моих злоключений, без затей и прикрас, как описал бы их нелицеприятный летописец.

Граф фон К. любит меня, выделяет меня из прочих своих знакомых, о чем я уже сто раз писал тебе. Вчера был я у него на обеде; а в этот день собирается у него по вечерам изысканное общество высокородных дам и кавалеров, до коих мне никогда не было дела и потому мне не пришло на ум, что нашему брату, младшему чиновнику, не место на сих раутах. Итак, отобедав, мы с графом и полковником Б. прохаживаемся по большой зале взад-вперед, беседуем; между тем приблизилось время съезда гостей. Я, Бог мне свидетель, ни о чем таком не помышляю, как вдруг входит в залу ее превысокоблагородие мадам фон С. со своим супругом и заботливо выпестованной плоскогрудой гусыней-дочкою, затянутой в корсет; они en passant²³ изумленно раскрывают свои породистые, вельможные очи и возмущено раздувают ноздри, а так как мне сия порода хуже горькой редьки, я готов был уже откланяться и ждал только, когда освободится граф, к которому они тотчас приступили с своею дурацкою болтовнею, но тут вошла моя фройляйн Б. Надобно признаться, что сердце мое всякий раз при ее появлении немного замирает, и потому я остался, встал у спинки ее стула и не сразу заметил, что она говорит со мною с меньшей открытостью, нежели обычно, и к тому же с некоторым смущением. Это неприятно поразило меня. «Неужто и она такова, как вся эта публика?» — подумал я и, почувствовав себя уязвленным, хотел уйти, но остался, оттого что все же надеялся найти какое-нибудь объяснение ее перемене ко мне и не верил в эту перемену, ждал услышать от нее приветливое слово — как тебе будет угодно. Между тем гости все прибывали. Барон фон Ф. во всем блеске своего гардероба времен коронации Франца I.²⁴ надворный советник Р., именуемый здесь in qualitate²⁵ господином фон Р., с своею глухою супругою, дурно одетый И., восполняющий изъяны своего допотопного туалета новомодными заплатами, словом, толпа гостей растет на глазах. Некоторые из моих прежде столь словоохотливых знакомых отвечают мне на редкость лаконически. Я недолго недоумевал и занялся исключительно своею фройляйн Б. Я не замечал, как перешептывались женщины в конце залы, как их возбуждение передалось мужчинам, как фрау фон С. обратилась с какою-то просьбою к графу (все это мне после рассказала фройляйн Б.), пока наконец граф не подошел ко мне и не отвел меня к окну.

— Вам ведь известны наши дикие нравы. Гости мои, как я замечаю, недовольны вашим присутствием. Мне ни в коей мере не хотелось бы вас...

— Ваше сиятельство, — прервал я его, — тысячу раз прошу Вас извинить меня! Мне самому следовало подумать об этом раньше. Я знаю, вы простите мне мое легкомыслие. Я уже хотел откланяться, но... меня удержал злой дух, — прибавил я с улыбкою и отвесил учтивый поклон.

²³ Походя, мимоходом (фр.) (Прим. переводчика)

²⁴ Франц I (1708-1765), коронован в 1745 г. как император «Священной Римской Империи». (Прим. переводчика).

²⁵ Здесь: в соответствии с его статусом (лат.) (Прим. переводчика).

Граф пожал мою руку с выражением, объяснявшим все без слов. Я неприметно покинул блестящее общество, вышел из дому, сел в коляску и поехал в М., чтобы полюбоваться с холма закатом солнца и прочесть из моего Гомера великолепную песнь об Улиссе и радушном свинопасе²⁶. И все было славно.

Воротившись вечером назад, я направился в трактир поужинать. Немногие остававшиеся там еще в этот час посетители играли за столом в кости, откинув скатерть. Тут входит добрый малый Аделин, снимает шляпу и, увидев меня, подходит ближе.

— У тебя были неприятности? — тихо говорит он.

— У меня? — с удивлением отвечаю я.

— Граф указал тебе на дверь...

— Ах, да провались они все пропадом! — говорю я. — Я сам был рад уйти, мне там не доставало воздуха.

— Хорошо, что ты не принимаешь это близко к сердцу, — продолжал он. — Досадно лишь, что весть о том уж разнеслась по городу.

Только теперь эта история задела меня за живое. Когда кто-то подходил к нашему столу и смотрел на меня, мне казалось, что он смотрит на меня именно из-за случившегося. Это усиливало мою злость.

И вот теперь, где бы я ни явился, все изъявляют мне свое сочувствие и с готовностью доносят, как торжествуют мои завистники, мол, вот чем кончают наглецы, кичащиеся своим умишком и полагающие, что могут безнаказанно пренебрегать условностями света, — или что там еще может выражать эта свора злобных мосек! Тут впору самому себе вонзить в сердце нож! Ибо сколько ни говори о независимости, — хотел бы я посмотреть на того, кто способен равнодушно взирать, как злословят о нем разные высокопоставленные мерзавцы, коих он не имеет возможности призвать к ответу должным образом. Будь то обычная, пустая болтовня — пусть бы себе судачили!

16 марта

Все словно сговорились терзать меня и мучить. Сегодня, встретив в аллее фройляйн Б., я не преминул заговорить с нею и, как только мы отделились от гуляющих, выразил ей свою обиду за ее странное поведение в доме графа.

— О, Вертер! — воскликнула она с волнением. — Как вы могли столь превратно истолковать мое смятение, зная мои чувства к вам? Вы не представляете себе, что я пережила с того момента, как вошла в залу! Я тотчас поняла, чем все кончится, и сотни раз порывалась предостеречь вас. Я знала, что эти фон С. и фон Т. с своими супругами скорее уйдут, чем

²⁶ 13-14-я песни «Одиссеи» Гомера, в которых повествуется о том, как свинопас Эвней принял у себя Одиссея, явившегося под видом нищего. (Прим. переводчика)

смирятся с вашим присутствием. Я знала также, что граф не отважится портить с ними отношения... И вот теперь весь этот шум!..

— Что вы имеете в виду, фройляйн? — спросил я, с трудом скрывая охвативший меня ужас. Ибо слова, сказанные мне давеча Аделином, вновь пришли мне на память и обожгли меня точно каленым железом.

— Скольких испытаний мне уже стоило это происшествие! — промолвила бедная девушка, и слезы блеснули у ней на глазах.

Я, уже не в силах совладать с собою, готов был броситься перед ней на колени.

— Объяснитесь же, сударыня! — взмолился я.

Слезы градом покатались по ее щекам. Я был вне себя. Она утирала слезы, не пытаясь скрыть их от меня.

— Тетушка моя вам знакома, — заговорила она наконец. — Она в тот вечер тоже была у графа и... Боже, какими глазами она смотрела на этот спектакль! Вертер, вчера ночью и сегодня утром мне пришлось выслушать гневную проповедь о вреде моего знакомства с вами, и я принуждена была покорно взирать на то, как вас унижают, оскорбляют, и не смела должным образом вступить за вас...

Каждое слово ее вонзалось мне острым кинжалом в сердце. Она не догадывалась, насколько милосерднее было бы утаить это от меня, но, напротив, присовокупила к уже сказанному еще и свои предположения о том, как именно мне станут перемывать косточки и злорадствовать на мой счет, ликуя по поводу моего наказания за высокомерие и презрение к окружающим, в коем меня давно уже обвиняют. Слышать все это из ее уст, дорогой Вильгельм, в сочетании с выражением искреннего, глубочайшего участия... Я был раздавлен и уничтожен и до сих пор не могу придти в себя от ярости. Я желал бы, чтобы кто-нибудь решился высказать мне все в лицо и я вонзил бы ему в грудь шпагу. При виде крови мне стало бы легче. Сколько раз я уже хватался за нож, чтобы отворить самому себе кровь. Говорят, будто бы есть такая редкая порода лошадей, которые сами, повинувшись инстинкту, способны прокусить себе жилу, чтобы выпустить дурную кровь, будучи загнаны или слишком разгорячены. Так часто бывает и со мной: мне хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу.

24 марта

Я подал прошение об отставке и, смею надеяться, мне не будет в том отказа. Вы же простите меня, что я не испросил прежде вашего на то согласия. Мне непременно надобно уехать отсюда, а все доводы, которые вы стали бы приводить, убеждая меня остаться, знаю я наперед. Объяви же матушке обо всем как-нибудь помягче: сам я не сумею сделать это надлежащим образом; придется ей смириться с тем, что я ничем не могу ей помочь. Ей, верно, будет больно вдруг увидеть, как обрывается едва начатое восхождение ее сына к высоким чинам тайного советника и посланника. Не долго резвилась лошадка! Милости просим в стойло! Думайте обо мне, что

хотите, взвешивайте все «за» и «против», прикидывайте, сколь угодно, все возможные условия, позволившие бы мне остаться при дворе, — с меня довольно, я уезжаю, а чтобы вы знали цель предстоящего мне путешествия, спешу сообщить, что здесь нынче находится князь **, который весьма дорожит моим обществом; услышав о моем намерении, он просил меня отправиться вместе с ним в его владения и погостить у него до лета, обещая мне полную свободу, и коль скоро нас с ним объединяет относительное сходство взглядов, я решился наудачу принять его приглашение.

19 апреля

Благодарю тебя за оба твои письма. Я не отвечал на них, ожидая ответа на свое прошение об отставке; я опасался, что матушка обратится к министру и затруднит исполнение моего плана. Но теперь все благополучно разрешилось, отставка получена. Не стану говорить вам, с какою неохотою мне ее дали и что пишет мне министр, дабы вы не обрушились на меня с новыми причитаниями и увещеваниями. Наследный принц прислал мне на прощание двадцать пять дукатов с письмом, растрогавшим меня до слез, так что деньги, испрошенные мною недавно у матушки, мне более не надобны.

5 мая

Завтра я уезжаю отсюда, а так как место моего рождения находится всего в шести милях от дороги, которою я поеду, решился я навестить туда, вспомнить былые времена, благословенные дни, проведенные в счастливых грезах. Я желаю войти в те самые ворота, через которые матушка выехала вместе со мною, покидая после смерти моего отца родные пенаты, чтобы затвориться в несносном городе. Прощай, Вильгельм! Весть о моих странствиях не заставит себя долго ждать.

9 мая

Паломничество к родным местам совершил я со всем подобающим случаем благоговением и испытал при том неожиданные чувства. У могучей липы, что стоит в четверти часа пути от города в сторону С., велел я кучеру остановиться, вышел из кареты и отправился далее пешком, чтобы не торопясь, всем сердцем, живо насладиться новизною каждого воспоминания. И вот я стоял под липою, бывшею некогда, в далеком детстве, целью и границею моих прогулок. Как все переменялось! Тогда в счастливом неведении своем жадно стремился я в далекий незнакомый мир, где надеялся найти иную пищу для сердца, иные наслаждения и утолить неизбывную тоску в груди. Теперь, воротившись из этого дальнего мира, я особенно остро почувствовал бремя всех несбывшихся надежд и неосуществившихся замыслов! Я видел пред собою горы, тысячекратно бывшие предметом моих желаний. Я мог некогда часами сидеть здесь, тоскуя по этим манящим

вершинам, мысленно затерявшись в этих приветливых, подернутых сизою дымкою лесах и долинах, ласкающих взор, и всякий раз, когда в положенный час я должен был возвращаться домой, с какою неохотою покидал я заветное место!.. Я приближался к городу, приветствуя старые, до боли знакомые загородные домики и досадливо морщась при виде новых построек, как и прочих иных перемен. Пройдя через наши ворота, тотчас почувствовал я себя дома. Дорогой мой, я не стану вдаваться в подробности; насколько радостным было чувство свидания с родиной, настолько же унылым выглядело бы оно, будучи облеченным в слова. Я решил остановиться на площади, рядом с нашим старым домом. По дороге заметил я, что школу нашу, в тесный мир которой втиснуто было наше детство и где постигали мы книжные премудрости под руководством славной старухи, обратили в лавку. Мне тотчас припомнились все тревоги, все слезы, все страхи и тягостные сомнения, перенесенные в этой убогой каморке... Каждый шаг мой изумлял меня и волновал мое воображение. Паломник на богомолье едва ли встречает на пути своем столько святынь и душу его едва ли столь часто охватывает священный трепет. Вот лишь один пример из тысячи. Я прогулялся вдоль реки до одной знакомой усадьбы; здесь я часто бывал в детстве, мальчишками мы упражнялись здесь в меткости и ловкости, бросая плоские гладкие камни и стараясь заставить их прыгать по воде возможно дальше. Я живо вспомнил, как порою, стоя над рекой, провожал взглядом волны; какие фантазии рождал во мне их бег, какими причудливыми рисовались мне края, сквозь которые лежал их путь, и как скоро иссякало мое воображение, достигнув своих границ, но я не сдавался, стремясь с волнами все дальше и дальше, пока не растворялся совершенно в некой незримой дали... Столь же счастливы в своей ограниченности, дорогой мой, были наши славные праотцы! Столь же младенчески простодушными и наивными были их чувства, их поэзия! Когда Улисс говорит о безбрежном море или бескрайней земле, это звучит так правдиво, человечно, искренно, просто и загадочно! Какой мне прок от того, что я теперь, как и любой школьник, знаю, что земля кругла? Человеку довольно и клочка земли, чтобы вкусить на ней счастье, и еще меньше, чтобы упокоиться под нею навеки.

Между тем я уже принят под гостеприимными сводами княжеского охотничьего замка. Хозяин пока не докучает мне чрезмерным радушием, он прост и искренен. Однако его окружают странные люди, коих я совершенно не понимаю. На плутов они как будто не похожи, но и назвать их честными я не решаюсь. Впрочем, иногда они кажутся мне таковыми, но доверять им я все же не могу. Что меня огорчает, так это привычка князя говорить о предметах, которые знает он понаслышке или по книгам и о коих судит не иначе как с чужого голоса. К тому же ум мой и мои таланты ценит он более, нежели мое сердце, единственное, чем могу я по праву гордиться, источник всех моих радостей и страданий. Ах, знания мои может приобрести всякий, сердце же такое есть лишь у меня.

Была у меня одна затея, о которой не хотел я вам писать, покуда не осуществлю задуманное. Теперь, когда из всего этого ничего не вышло, я с тем же успехом могу открыть вам свой замысел: я хотел уйти на войну. Мысль эта давно занимала меня и стала главной причиной приезда моего сюда, ибо князь в чине генерала состоит на службе при N. Как-то раз во время прогулки я открыл ему свое намерение; он принялся отговаривать меня, и поскольку желание мое очевидно было скорее прихотью, нежели истинным порывом, я внял его увещаниям.

11 июля

Воля твоя, а я здесь долее оставаться не могу. Что мне здесь делать? Меня одолевает скука. Князь являет чудеса гостеприимства, и все же я чувствую себя не на своем месте. В сущности, меж нами нет ничего общего. Ему не откажешь в уме, но это ум зауряднейший; общество его мне уже неинтересно — я словно читаю хорошо написанную, но уже известную мне книгу. Я пробуду здесь еще неделю и вновь пушусь в свои скитания. Единственное полезное дело, коим я здесь занимался, это мое рисование. Князь не чужд искусству и не лишен чувства прекрасного, но чувство это могло бы быть острее, если бы не его отвратительная склонность к теоретизированию и пошлой терминологии. Порою я скрежещу зубами, когда на мои вдохновенно-пламенные речи об искусстве и природе он вдруг важно отвечает какими-нибудь набившими оскомину прописными истинами.

16 июля

Да, я в этом мире — всего лишь странник, пилигрим! А вы? Разве вы суть нечто иное?

18 июля

Куда теперь лежит мой путь? Изволь, сию тебе открою тайну: придется мне все же провести здесь еще две недели, затем положил я осмотреть N-ские рудники, внушив себе, что мне это интересно; в действительности же нет мне до них никакого дела, а просто я желаю вновь оказаться ближе к Лотте. Я и сам смеюсь над своим неугомонным сердцем, но покоряюсь очередной его причуде.

29 июля

Нет, все хорошо! Все замечательно хорошо! Я — ее муж! О Боже, сотворивший меня, если бы Ты даровал мне сие блаженство, вся жизнь моя стала бы одной непрерывной молитвой! Я не ропщу, прости мне эти слезы,

прости эти тщетные мечты!.. Она — моя жена! Если бы мне суждено было заключить в объятия это создание, прелестнейшее из всех живущих под луной... О, Вильгельм, кровь леденеет в моих жилах, когда я вижу, как он обнимает ее стройный стан!

Дерзну ли сказать? А почему бы и нет, друг мой? Со мною была бы она счастливей, нежели с ним! Он не тот, кому дано исполнить все желания этой богатой природы. Ему недостает чуткости и... — право, не знаю, как это выразить! Его сердце не встрепенется в магическом слиянии с ее сердцем в том месте книги, где наши с нею сердца звенят в унисон, или в сотнях других случаев, когда мы делимся впечатлениями о поступках третьих лиц. Однако, дорогой Вильгельм, он любит ее всею душою, а такая любовь с лихвой окупает все!

Нежданный гость, один несносный человек, прервал меня. Слезы мои высохли. Я вновь спокоен. Прощай, друг мой!

4 августа

Я не одинок в своих печалях. Всем людям знакомы горькие разочарования, обманутые надежды. Я навестил свою приветливую крестьянку под старую липу. Старший сын ее бросился мне навстречу; радостный крик его привлек внимание матери, лицо которой показалось мне непривычно печальным. Первыми словами ее были:

— Ах, сударь, Ганс-то мой помер!

То было имя ее младшего мальчугана. Я не нашелся, что сказать.

— А муж, — продолжала она, — вернулся из Швейцарии ни с чем, и если бы не добрые люди, пришлось бы ему побираться в дороге. Ведь он, как на грех, захворал там не на шутку...

Я не знал, как утешить ее, и подарил малышу несколько монет. Она стала просить меня взять с собою хотя бы немного яблок, я поблагодарил ее и, приняв угощение, поспешил покинуть место тягостных воспоминаний.

21 августа

Состояние души моей изменяется порою с такою же легкостью и быстротою, с какою мы перевертываем страницу книги. Вдруг забрезжит в полумраке жизни луч радости, всего на мгновенье! Например, когда я так погружен бываю в своих мечтаниях, что уже не в силах противиться мысли: «А если бы Альберт умер? Ты мог бы... Она могла бы...» И вот уже я слепо гонюсь за этим призраком, куда он не приведет меня к пропасти, перед которой я в ужасе замираю и прихожу в себя.

Выйдя за ворота, на дорогу, по которой впервые отправился я к дому Лотты, чтобы вместе с нею ехать на балл, я с изумлением вижу, как все переменялось! Все, все миновалось! Ни единого привета прежней жизни, ни единого отзвука моих тогдашних чувств. То же, должно быть, испытывает

дух умершего, воротившись к обгоревшим руинам замка, который некогда в блестящую бытность свою князем выстроил он и украсил со всею возможною роскошью, а затем, умирая, с надеждою завещал любимому сыну.

3 сентября

Порою мне кажется непостижимым, как может, как смеет любить ее другой, когда лишь я один так горячо, так страстно люблю ее, не зная, не видя и не имея ничего другого, кроме нее!

4 сентября

Да, это так. Подобно тому как лето клонится к осени, во мне и вокруг меня тихо воцаряется осень. Листья мои желтеют, в то время как соседние деревья уже обнажились. Я, кажется, писал тебе как-то об одном крестьянском парне, в самом начале моего прежнего здесь пребывания. Теперь, вернувшись в Вальгейм, я справился о нем; мне сказали, что его прогнали с места и с той поры более никто ничего о нем не слышал. Вчера я случайно встретил его на дороге, ведущей в другую деревню, заговорил с ним, и он поведал мне свою историю, тронувшую меня до глубины души; ты легко поймешь, отчего, как только я перескажу тебе сию печальную повесть. Но зачем мне это? Отчего я не держу при себе все свои страхи и горести? Зачем омрачаю ими и твою душу? Зачем то и дело даю тебе повод жалеть и бранить меня? А впрочем, все равно, видно, и это написано мне на роду!

Сначала он в кроткой печали, которую я принял было за робость характера, лишь отвечал на мои вопросы; затем, словно вдруг вспомнив, узнав и меня, и себя, разговорился и сам стал каяться в своих прегрешениях, сетовать на свою несчастную судьбу. Друг мой, если бы я мог представить на твой суд каждое его слово! Он, точно исповедуясь, рассказывал мне в каком-то странном упоении нахлынувших воспоминаний о том, как страсть к хозяйке росла в нем день ото дня, как он в конце концов пришел в полное смятение и уже не отдавал себе отчета в том, что делает, что говорит и, по его собственным словам, совсем потерял голову. Он не мог ни есть, ни пить, ни спать; кусок застревал у него в горле; в работе делал он то, чего ему не велели, поручения же, напротив, забывал; он словно одержим был злым духом. И вот однажды, когда она направилась в одну из верхних комнат, он пошел следом, вернее сказать, ноги сами неудержимо повлекли его за ней. Не встретив сочувствия своим мольбам, он попытался овладеть ею силой; он и сам не понимал, что с ним происходит, и, Бог ему свидетель, говорил он, намерения его всегда были честны, и ничего он не желал так страстно, как обвенчаться с ней и жить душа в душу до гроба. Дойдя до этого места, он начал вдруг запинаться, как человек, который хотел бы сказать еще что-то, но не решается. Наконец он, робко, преодолевая стыд, признался, что она до того позволяла ему некоторые вольности и сама удостоивала его разными

знаками расположения. Дважды или трижды он прерывал свою речь и живо уверял меня, что говорит это вовсе не для того, чтобы очернить ее, как он выразился, что он, напротив, любит и почитает ее не менее прежнего и у него никогда не повернулся бы язык вымолвить такое, если бы он не опасался, что я приму его за распутника и безумца. И тут, дорогой мой, я вновь завожу свою старую песню, от которой мне не избавиться до смерти: если бы я мог изобразить тебе этого человека таким, каким он предстал передо мною в тот день, каким я до сих пор вижу его внутренним взором своим! Если бы я мог выразить тебе все так, чтобы ты почувствовал, какое живое участие принимаю я — и не могу не принимать — в его судьбе! Однако довольно, коль скоро ты знаешь и мою судьбу и меня самого, нет нужды говорить тебе, что влечет меня ко всем несчастным и в особенности к этому бедняге.

Перечитывая это письмо, я заметил, что забыл рассказать, чем кончилось дело; впрочем, финал сцены нетрудно вообразить. Она стала упорно сопротивляться, на помощь подросел ее брат, который давно уже ненавидел его, опасаясь, что новое замужество сестры лишит его детей наследства, в то время как, оставаясь бездетною вдовой, она вселяла в него определенные надежды. Он вытолкнул беднягу из дома и поднял такой шум в деревне, что сестра, если бы и захотела, не смогла бы уже вновь принять его обратно. Теперь она взяла себе нового работника, который, по слухам, тоже стал предметом ее раздоров с братом, но за которого она, как твердят в один голос соседи, невзирая на то, непременно выйдет, а этого, заявил мой знакомец, он не перенесет.

В истории, которую я поведал тебе, я ничего не преувеличил и не смягчил; более того, рассказ мой вышел чересчур слабым и грубым, ибо я по обыкновению пользовался чопорным языком пресловутой морали.

Одним словом, эта любовь, эта верность, эта страсть — вовсе не плод поэтического вымысла. Она живет, она существует во всей своей чистоте среди представителей низшего сословия, коих мы считаем необразованными и грубыми. Мы, образованные, то бишь *преобразованные* в ничто, в пустоту! Прошу тебя, читай сию историю с благоговением. Сегодня я покоен и кроток, меня умиротворили эти строки; ты сам можешь судить по почерку: перо мое нынче против обыкновения не скачет в безумной пляске и не резвится, разбрызгивая чернила. Читай, дорогой мой, и думай о том, что сие есть вместе и история твоего друга. Да, то же было — и будет — со мною, с одною лишь разницею, что нет во мне и половины доброты и решительности моего бедного знаконца, с коим едва ли решился бы я сравнить себя.

5 сентября

Она написала своему мужу записочку в одну из отдаленных деревень, где задержали его неотложные дела. Начиналось сие послание следующими словами: «Любимый мой, несравненный! Возвращайся как можно скорей. Жду тебя с радостным нетерпением»... Тут приехал его друг и привез известие, что в силу некоторых обстоятельств отсутствие его продлится

дольше, чем он предполагал. Неотправленная записка так и осталась лежать на столе и вечером подвернулась мне под руку. Я прочел ее и улыбнулся; она спросила, чему я улыбаюсь.

— Что за дивный дар — воображение! — воскликнул я. — Я лишь на миг представил себе, что записка адресована мне...

Она не ответила, видимо недовольная моими словами, и я умолк.

6 сентября

Долго не мог я расстаться с своим синим фраком, в котором в первый раз танцевал с Лоттой, так что он в конце концов пришел уже в полную непригодность. Впрочем, новый велел я шить так же точно, как прежний, с таким же воротником и такими же лацканами, а жилет и панталоны к нему вновь заказал желтые.

Увы, новое платье не вызывает во мне старых чувств. Право, не знаю, быть может, со временем оно станет мне ближе и роднее?

12 сентября

Она на несколько дней уезжала, к Альберту, с тем чтобы вернуться вместе с ним. Сегодня я вошел в ее комнату, она поднялась мне навстречу, и я поцеловал ее руку с неопишуемой радостью. Сидевшая на зеркале канарейка вспорхнула и опустилась ей на плечо.

— Новый друг, — сказала она и поманила птичку на ладонь. — Я купила ее для наших малышей. Какая прелесть! Вы только посмотрите на нее! Когда я угощаю ее хлебом, она машет крылышками и так чинно клюет. Она даже целует меня, вот смотрите!

Она подставила птичке свои божественные уста, и та нежно ткнула в них крохотным клювиком, словно могла оценить их ни с чем несравнимую сладость.

— Пусть она поцелует и вас, — сказала она и протянула мне птичку.

Едва осязаемое прикосновение пернатой невелички показалось мне невесомаю лаской ветерка, предвестницею нежной любовной улады.

— Ее поцелуй не так уж бескорыстен, — заметил я, — она ищет пищи и пустые ласки ей скучны.

— Она ест у меня изо рта, — ответила Лотта и предложила своей питомице несколько крошек, зажав их меж губами, дразнившими мой взор несбыточной надеждой на неги невинной любви.

Я отвернулся. Зачем она мучает меня? Зачем тревожит мое воображение этими картинами ангельского целомудрия и блаженства и пробуждает мое сердце от спасительного сна, навеваемого порою монотонностью жизни? Впрочем, отчего бы ей не делать этого? Ведь она так верит мне! Она знает, как я люблю ее!

15 сентября

Дорогой Вильгельм, меня приводит в ярость одна уже только мысль о существовании людей, не способных ни понять умом, ни почувствовать сердцем всей важности того немногого, что еще имеет ценность на земле. Ты, верно, помнишь еще ореховые деревья, под коими сидел я вместе с Лоттою и добрым стариком-пастором в деревушке N., великолепные ореховые деревья, всякий раз наполнявшие мою душу восторгом! Каким уютным и тенистым был пасторский двор, благодаря этим деревьям! Какие восхитительные ветви осеняли его! А сколько связано было с ними воспоминаний, уходящих далеко в прошлое, к добрым священникам, насадившим их! Школьный учитель не раз упоминал в беседах с нами имя одного из них, о котором слышал он от своего деда и который по рассказам старожилов здешних мест был предобрейшей души человек; память о нем под сими деревьями была священна. Верь мне, у учителя на глазах были слезы, когда вчера речь зашла о том, что их срубили. Срубили!.. Я взбешен, я готов прибить мерзавца, поднявшего на них кощунственный топор! Будь у меня во дворе такие деревья, я, кажется, сам умер бы от горя, если бы хотя одно из них само по себе погибло от старости, — и вот я должен мириться с сим варварством! Одно утешительно, драгоценный друг мой: я не одинок в своем возмущении! Вся деревня негодует, и надеюсь, госпожа пасторша явственно почувствует сие негодование на масле, яйцах и прочих пожертвованиях и поймет, какую рану нанесла она всей общине. Ибо не кто иной как она, жена нового пастора (предшественник его тоже почил), худосочная, болезненная особа, имеющая все основания быть безучастной к окружающему миру, который так же безучастен к ней, была причиной свершившегося злодеяния. Эта глупая ворона, возомнившая себя столпом учености, разглагольствует о свободном толковании канона, горой стоит за новомодную, морально-критическую реформацию христианства, пренебрежительно пожимает плечами в ответ на любые упоминания лафатеровых²⁷ «фантазий» и по причине своего совершенно расстроенного здоровья не находит в Божьем мире ни проблеска радости. Только такая каналья и могла срубить мои деревья. Ты видишь: я никак не могу придти в себя! Вообрази: от облетающей листвы во дворе у нее делается грязно и сыро, сами деревья загораживают ей свет, а когда созревают орехи, мальчишки сбивают их камнями, и это действует ей на нервы, служит помехою ее глубоким мыслительным опытам по сопоставлению Кенникота, Землера и Михаэлиса²⁸. Видя недовольство жителей деревни, особенно стариков, я спросил некоторых из них:

— Отчего же вы стерпели это?

²⁷ Иоганн Каспар Лафатер (1741-1801) — швейцарский пастор, проповедник, автор ряда произведений на библейские темы. (Прим. переводчика)

²⁸ Бенъямин Кенникот (1718-1783) — английский богослов; Иоганн Соломон Землер (1725-1791) и Давид Михаэль Михаэлис (1717-1791) — немецкие богословы, отстаивали право свободного истолкования догматов, независимо от официальной церкви. (Прим. переводчика)

— А что нам остается? — ответили они. — Со старостой не поспоришь.

Однако есть правда на земле! Староста и пастор, который и сам страдал от жениных причуд, сговорились извлечь из сей okazji некоторую выгоду и поделить барыши. Но тут прослышала о срубленных деревьях палата и сказала: «Выгода-то есть, да не про вашу честь!» Ибо она давно заявляла свои права на ту часть усадьбы, где стояли деревья, и потому, не мешкая, продала их с торгов. И вот они лежат на земле, дожидаясь своей участи! О, будь я князь! Я проучил бы их всех — и пасторшу, и старосту, и палату!.. А впрочем, будь я князь, мне не было бы никакого дела до деревьев!

10 октября

Стоит мне заглянуть ее черные глаза, как я уж всем доволен! Одно лишь удручает меня: то, что Альберт вовсе не кажется таким счастливым, каким он... надеялся стать, а я... непременно стал бы, если бы... Я не охотник до многоточий, но здесь, пожалуй, без них не обойтись, а с ними мысль моя как будто вполне понятна.

12 октября

Оссиан²⁹ вытеснил из моего сердца Гомера. Что за дивный мир открывает предо мной сей великий певец! Я брожу по равнине, овеваемый бурным ветром, что гонит в неведомую даль, через море тумана, в призрачном свете луны, души его предков. Я внимаю с горных вершин сквозь рев лесного потока едва уловимым стоном духов, скрытых в пещерах, и безутешному плачу девы, скорбящей над четырьмя поросшими мохом камнями среди высокой травы, одиноким памятником павшему герою, ее возлюбленному. И когда я встречаю его, седовласого барда-скитальца, который ищет на бескрайней равнине следы предков и находит их могилы и в горькой печали возводит очи к вечерней звезде, погружающейся в зыблущее море, и в душе героя воскресает седая старина, когда еще приветливый луч предостерегал отважных воинов от опасностей, а луна освещала их украшенный венками корабль, с победой возвращающийся к родным берегам; когда я читаю на челе его глубокую скорбь, вижу, как сей последний, одинокий герой в изнеможении, в предсмертной усиллии, бредет к гробовой черте, вкушая все новые капли сладостно-жгучего блаженства, кои дарует ему бесплотное присутствие родных теней; как он, возрев на сырую землю, на высокие, колышущиеся травы, восклицает: «Придет однажды странник, знавший честь и славу мою. Где спит певец, достойный сын Фингала? — он спросит и тщетно станет искать, попирая могилу ногой»... О, друг мой! В такие мгновенья мне хочется подобно верному оруженосцу обнажить меч, освободить моего господина от мучительных судорог

²⁹ Легендарный кельтский поэт, живший по преданию в III в. (Прим. переводчика)

медленно угасающей жизни и послать свою душу во след освобожденному полубогу.

19 октября

Ах, эта пустота! Эта страшная брешь, зияющая в моей груди! Я часто думаю: если бы я хоть раз, хоть один-единственный раз мог прижать ее к сердцу, эта брешь была бы восполнена.

26 октября

Да, друг мой, день ото дня становится мне ясней и ясней, как мало значит жизнь человека. Пришла к Лотте подруга; я вышел в соседнюю комнату за книгою, но читать мне не хотелось, и я взялся за перо. До меня доносились обрывки их тихой беседы; они говорили о разных безделицах, обсуждали городские новости: та выходит замуж, та больна, та при смерти.

— У нее сухой кашель, а лицо — одни кости! Она то и дело падает без чувств. Я не дам за ее жизнь и крейцера! — говорила подруга.

— N.N. тоже совсем плох, — отвечала Лотта.

— Он уже весь распух! — воскликнула подруга.

Мое пылкое воображение перенесло меня к постели этих несчастных. Я увидел, как жаль, как горько им расставаться с жизнью, как они... Ах, Вильгельм!.. А мои кумушки говорили об этом, как обыкновенно говорят об умирающих, мол, такой-то и такой-то умирает... И вот, озираясь в комнате и видя вокруг платья Лотты, бумаги Альберта и эти кресла, стулья, столики, все эти вещи, с коими я уже так сроднился, даже с этой чернильницею, я думаю: что твоя жизнь для этого дома?.. Взгляни правде в глаза: друзья твои почитают тебя! Порою ты доставляешь им радость, и тебе самому кажется, что без них не мог бы ты существовать. И все же, случись, что ты ушел бы, оставил навсегда их круг, — ощутили бы они твой уход как утрату? И долго ли твое отсутствие казалось бы им утратой? Как долго?.. О, как недолговечен человек, если даже там, где жизнь его обретает наибольшую определенность, где оставляет он единственно отчетливый и подлинный отпечаток своего бытия, в памяти, в душе любимых им людей, — если даже там изглаживается, исчезает его след! Да как скоро!

27 октября

Мне порою хочется разорвать себе грудь и размозжить голову от сознания того, что люди часто ничего не могут дать друг другу. Ты не обретешь любви, радости, тепла и блаженства, если сам не подаришь все это другому, и никакой жар любви не осчастливит другого, если он стоит пред тобою холоден и безжизнен.

Вечером

Мне так много дано, но все таланты мои пожирает любовь к ней; я так богат, но без нее все богатства мои обращаются в прах.

30 октября

Сколько раз был я на волосок от того, чтобы броситься ей на грудь! Одному Богу известно, какие муки приходится терпеть несчастному, видящему перед собою такую прелесть, такую лакомую добычу и не смеющему схватить ее, меж тем как хватать есть первейший инстинкт человека. Разве дети не хватают все, что попадаетея им на глаза? А я?

3 ноября

Бог свидетель! Я часто ложусь в постель с желанием, а то и с надеждою не проснуться, но утром открываю глаза, вновь вижу солнце — и вновь страдаю. О, если б я был сварлив и желчен и мог винить во всем других, погоду, обстоятельства, это ненавистное бремя недовольства было бы вдвое легче. Горе мне! Я слишком явственно чувствую, что вина за все лежит на мне одном. Нет, не вина! Довольно и того, что во мне сокрыт источник всех моих мучений, как некогда таился там источник всех радостей. Разве я не тот же, кто некогда воспарял на крыльях любви в поднебесье, кого на каждом шагу ждал рай, чье сердце могло в умилении объять весь мир? И вот, это сердце мертво, ему чужды былые восторги, глаза мои сухи, а чувства, лишившиеся животворящей купели слез, стянули мое чело в суровую маску. Я страдаю отчаянно, ибо потерял то, что составляло единственную радость моей жизни, священную, живительную силу, посредством которой я возводил целые миры; она иссякла! Глядя в окно, я вижу отдаленный холм, из-за которого лучи утреннего солнца, пронизав клубы тумана, озаряют тихие долины и неторопливую реку, петляющую меж облетевших ив... Но эта великолепная природа смотрит на меня мертвым оком, ничего мне не говоря, точно дешевая лакированная картинка, и сердце не в силах послать в мозг ни капли от всего преизбытка блаженства, и я стою перед лицом Бога, как иссякший колодец, как разохшаяся бочка! Сколько раз бросался я наземь и просил у Бога слез, как землепашец просит у Него дождя, когда небо делается медным и земля изнывает от жажды!

Но увы, Бог посылает дождь и тепло не в ответ на наши неистовые мольбы, я чувствую это, и те времена, память о которых меня мучает, были оттого именно столь светлыми, что я терпеливо ждал проявления Его духа и всем сердцем благодарно, с благоговением принимал радость, изливаемую Им на меня!

8 ноября

Она корила меня за мою неумеренность! Но как ласково! За мою неумеренность, выражающуюся между прочим в том, что выпив бокал вина, я способен уже выпить и целую бутылку.

— Не делайте этого! — говорила она. — Подумайте обо мне!

— Подумать? О вас? — отвечал я. — Вам ли призывать меня к тому? Я думаю! Нет, я не думаю — вы всегда в моей душе. Сегодня я долго сидел на том месте, где вы давеча вышли из кареты.

Она перевела разговор на другое, чтобы отвлечь меня от опасной темы. Друг мой, я пропал! Она может делать со мною, что пожелает.

15 ноября

Благодарю тебя, Вильгельм, за твое сердечное участие, за твой добрый совет и прошу тебя не тревожиться обо мне. Я потерплю; даром что я устал от жизни, у меня достанет сил вынести эту муку. Ты знаешь, я почитаю религию, я верю, что утомленному путнику она может стать надежным посохом, а страждущему утешением и поддержкою. Но всякому ли путнику? Всякому ли страждущему? В этом огромном мире мы видим тысячи несчастных, коим слово Божье — проповеданное или не проповеданное — не стало и никогда не станет ни тем, ни другим, отчего же я непременно должен удостоиться сих благ? Разве Сын Божий не говорит, что никто не может придти к Нему, если то не дано будет ему от Отца Его?³⁰ Что если мне это не дано Отцом? Если Он бережет меня для Себя, как подсказывает мне мое сердце?.. Прошу тебя, не пойми меня превратно, усмотрев в сих невинных словах кощунство. Я обнажаю пред тобой свою душу; будь иначе, я предпочел бы промолчать, как обыкновенно обхожу молчанием все то, о чем знаю не более других, то бишь ничего. Вытерпеть свою меру отпущенных Богом страданий, осушить свой кубок — вот неотвратимый жребий каждого. И если Самому Господу в Его человеческой ипостаси, на Его человеческих устах, чаша показалась горька, для чего же я должен, потворствуя своей гордыне, делать вид, будто на моих устах — сладость? И зачем мне стыдиться в эти страшные минуты, когда все мое существо трепещет на грани жизни и смерти, когда прошлое, молнией сверкнув над мрачной бездной грядущего, погружает все вокруг меня в кромешную тьму и мир гибнет вместе со мной? И в сей разверзающейся тьме — вопль объятай смертным страхом твари, теряющей самое себя, неудержимо летящей в бесконечность; вопль, рвущийся из неведомых недр ее существа, тщетно противящегося распаду: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» И мне ли стыдиться этого вопля, мне ли страшиться рокового мига, коего не миновал и Он, свивающий небеса словно свиток?

21 ноября

³⁰ Евангелие от Иоанна, 6, 65 (Прим. переводчика)

Она не видит, не чувствует, что готовит ядовитое зелье, отравляющее и меня, и ее; я же вожделенно пью из этого кубка, который она подносит мне на мою погибель. Что означает ее ласковый взгляд, часто — нет, не часто, но временами — обращаемый ею на меня? Эта благосклонность, с которой она принимает невольные изъявления моего чувства к ней, это сострадание к моему терпению, отображающееся на ее челе?

Вчера, когда я уходил, она протянула мне руку и сказала:

— До свидания, милый Вертер!

«Милый Вертер»! Впервые она назвала меня «милым», и слово это обожгло меня сладким трепетом. Я сто раз повторял его про себя, а ложась спать и болтая сам с собою, вдруг сказал: «Доброй ночи, милый Вертер!» и невольно рассмеялся.

22 ноября

Я не могу просить у Бога: «Оставь ее мне!», и все же она часто кажется мне моею. Я не могу просить: «Дай мне ее!», ибо она принадлежит другому. Я упражняюсь в остроумии, смеюсь над своею болью... Однако дай мне волю — и сей перечень антитез вырастет в бесконечную заунывную литанию.

24 ноября

Она чувствует, какие муки я терплю. Сегодня взгляд ее пронзил мое сердце. Я застал ее одну; в ответ на мое затянувшееся молчание она посмотрела на меня. И я уже не видел ни ее прелестной красоты, ни тонкого ума, все расплылось перед моими глазами. Я чувствовал лишь этот ослепительный взгляд, полный глубочайшего участия, нежнейшего сострадания. Отчего я не посмел броситься к ее ногам? Отчего не осмелился осыпать это лицо поцелуями? Она поспешила ретироваться к спасительному фортепьяно и заиграла, едва слышно подпевая себе нежным, чистым голосом. Никогда ее губы не производили во мне такого головокружительного действия; казалось, они просто пили звуки, льющиеся из инструмента, и возвращали их в виде серебряных отголосков — о, если бы я мог выразить свое впечатление! Наконец я не выдержал, опустил голову и поклялся: никогда не дерзну я напечатлеть поцелуй на эти уста, осиянные небесным светом! И все же... я готов дерзнуть! Перешагнуть незримую грань, вкусить неземного блаженства, а там — хоть в ад, искупать сей грех! Грех?..

26 ноября

Порой я говорю себе: твой жребий несравним ни с чем; все остальные люди — счастливы, ибо так еще не мучили никого! Затем читаю древнего поэта, и мне кажется, будто он писал обо мне. Мне так тяжело и больно! Неужто на этой земле и до меня людям знакомы были подобные муки?

Как, как мне обрести хотя относительный покой? Куда не пойду я, всюду ждет меня событие или явление, тотчас нарушающее мое душевное равновесие. Сегодня! О, рок! О, люди!

Я шел берегом реки. Время было обеденное, но есть мне не хотелось. Вокруг было пусто, неприятно; с гор дул сырой, холодный ветер, гнавший в долину серые тучи. Вдруг вижу я вдалеке человека в зеленом, дурно скроенном платье, карабкающегося меж скал, судя по всему, в поисках целебных трав. Я приблизился, и когда он обернулся на шорох моих шагов, я увидел весьма интересное лицо, отмеченное печатью тихой печали, которая, впрочем, была всего лишь выражением доброты и простодушия. Черные волосы на висках заколоты были булавками в две букли, а сзади заплетены в толстую косичку, ниспадавшую на спину. Так как платье незнакомца обличало в нем простолюдина, я рассудил, что не обижу его, осведомившись о его занятии, и спросил, что он ищет.

— Я ищу цветы, — отвечал он со вздохом, — но не нахожу.

— Да, пора не самая подходящая, — заметил я с улыбкой.

— Всюду столько цветов, — сказал он, спускаясь ко мне. — У меня в саду есть розы и жимолость двух сортов. Одну дал мне мой отец, они растут, как сорная трава; и вот я ищу уже второй день и никак не могу ее найти. Тут всегда бывают цветы, желтые, синие, красные, да и златотысячник тоже красиво цветет. А мне никак не найти ни одного...

Я почувствовал неладное и решил доискаться смысла окольным путем.

— А на что вам цветы? — спросил я его.

Странная, судорожная улыбка появилась у него на лице.

— Только не выдавайте меня, — сказал он, приложив палец к губам. — Я обещал своей милой красивый букет.

— Что ж, это похвально.

— О, у нее всего в достатке, она богата!

— Но вашему букету была бы рада, верно?

— Есть у нее и драгоценные каменья, и корона.

— Как же ее имя?

— Если бы Генеральные штаты³¹ заплатили мне, я зажил бы на славу! Да, было время, когда я горя не знал! А теперь моя песенка спета. Теперь я...

Воздетые к небу глаза его, полные слез, были красноречивым ответом.

— Стало быть, вы были счастливым человеком? — спросил я.

— Ах, хотел бы я вновь стать им! — отвечал он. — Как славно я жил, как весело, легко — словно рыба в воде!

³¹ Первоначально высшее сословно-представительское учреждение нидерландских провинций (включавших также территорию современной Бельгии). Ныне высший законодательный орган Нидерландов. Генеральные штаты состояли из депутатов духовенства, дворянства и верхушки горожан. Впервые были созданы в 1463 году после объединения Нидерландов бургундскими герцогами. (Прим. переводчика)

— Генрих! — раздался вдруг старческий голос. — Генрих! — позвала показавшаяся на дороге женщина. — Где тебя черти носят? Мы тебя обыскались! Ступай обедать!

— Это ваш сын? — спросил я, подойдя к ней.

— Да, мой горемычный сын! — вздохнула она. — Послал мне Бог испытание!

— Давно ли он таков?

— Да уж с полгода как стал таким смиренным. Слава Богу, и на том спасибо, а раньше целый год был буйным, сидел на цепи в доме умалишенных. Теперь он и мухи не обидит, только вот вбил себе в голову этих королей да императоров. А был таким добрым, тихим, помогал мне добывать пропитание. Ведь как писал — загляденье! И вдруг в одночасье приуныл, сделался мрачный, впал в горячку, потом и вовсе взбесился, а теперь вот таков, каким вы его видите. Если все рассказывать, сударь...

Я прервал ее речь вопросом:

— Но что же это было за время, которое он вспоминает с такою отрадой, когда он, по его словам, был так счастлив?

— Безумец, что с него взять! — промолвила она с улыбкой жалости. — Ведь он толкует о той самой поре, когда потерял рассудок и жил в доме умалишенных; он всегда хвалит то время, когда сидел на цепи и не помнил себя...

Эти слова поразили меня, как удар грома. Я сунул ей в руку монету и спешно удалился.

«Вот когда он был счастлив! Вот когда жил легко и весело, как рыба в воде!» — твердил я про себя, спеша обратно в город. Боже праведный! Вот какой жребий судил Ты человеку — чтоб счастье улыбалось ему лишь до того, как он войдет в разум, и после того, как вновь утратит его!.. Бедняга! Как я завидую его умопомрачению, смятению его чувств, погружившему его во тьму неведения! Он с верою отправляется на поиски цветов для своей королевы — зимой! — и печалится, не находя их и не понимая, отчего их нет! А я? Я пускаюсь в путь без надежды и без цели и ни с чем возвращаюсь назад... Ты предаешься мечтам о том, как счастливо зажил бы, если бы Генеральные штаты тебе заплатили. Блажен ты, счастливец, полагающий причину своих несчастий в земных препонах! Ты не знаешь, не чувствуешь, что они заключены в твоём разбитом сердце, в твоём расстроенном мозгу и что ни один король мира не в силах устранить их.

Да будет навеки проклят тот, кто насмехается над страдальцем, спешащим к отдаленному целебному источнику, который лишь усугубит его болезнь, лишь усилит муки его расставания с жизнью! Тот, кто в гордыне своей возносится над бедным грешником, который совершает паломничество ко Гробу Господню, чтобы избавиться от угрызений совести и исцелить язвы души. Каждый шаг, отзывающийся болью в его израненных острыми дорожными камнями стопах, есть капля бальзама на отравленное страхом сердце, и с каждым изнурительным дневным переходом все глубже и безмятежней его ночной сон... И вы смеете называть это безумием, вы,

фразеры, предающиеся словоблудию в своих уютных гнездышках? Безумием! Господи! Ты видишь мои слезы! Человек, которого Ты сотворил по образу и подобию Своему, и без того беден — для чего же Ты дал ему в удел еще и братьев, отнимающих у него последние крохи имущества, последние крупы веры в Тебя, Вселюбящего? Ибо вера в целебный корень, в слезы лозы — что это как не вера в Тебя, в то, что Ты во все, чем окружил нас, вдохнул целебную, животворную силу, в коей мы ежечасно испытываем нужду? Отец мой, Которого я не знаю! Отец, переполнявший прежде мою душу, а ныне отворотивший от меня Свой лик, призови меня к Себе! Не молчи! Твое молчание не остановит эту жаждущую душу! Разве стал бы гневаться человек, отец смертного, на своего нечаянно воротившегося под отчий кров сына, который, бросившись ему на грудь, воскликнул бы: «Я вернулся, отец! Не гневайся на меня за то, что я прежде времени прервал странничество, которое по твоему слову надлежало мне выдержать до конца. Мир всюду одинаков, по усердию и труду — награда и радость; но что мне в том? Мне хорошо лишь там, где ты, пред твоими очами желаю я страдать и наслаждаться». Неужели же Ты, Отец Небесный, отвергнул бы его?

1 декабря

Вильгельм! Человек, о котором я писал тебе, счастливый несчастливец, служил писарем у отца Лотты, и страсть, которую он питал к ней, долго скрывал, наконец обнаружил и из-за которой лишился места, свела его с ума. Вообрази теперь, пробежав глазами эти несколько сухих строк, как потрясен я был, когда Альберт поведал мне сию историю с такою же невозмутимостью, с какою ты, вероятно, читал ее в моем письме.

4 декабря

Помилосердствуй, Вильгельм! Ты видишь, со мною все кончено, я более не в силах нести это бремя! Сегодня я был у ней; она играла на своем фортепьяно разные мелодии, но с какою глубиной выразительности! С каким чувством! Как рассказать об этом словами?.. Сестричка ее наряжала у меня на коленях куклу. Слезы вдруг подступили мне к горлу. Я наклонил голову, и тут в глаза мне бросилось ее обручальное кольцо; слезы полились сами собой. Она между тем неожиданно заиграла старую, исполненную изумительной нежности мелодию, пролившую мне в грудь утешение и воскресившую воспоминания прошлого, память о тех днях, когда я часто слышал эту песню, о зловещих приступах тоски, о несбывшихся надеждах и... Я встал и заходил взад-вперед по комнате; сердце мое грозило разорваться от натиска чувств.

— Ради Бога! — вскричал я наконец, в бурном порыве бросившись к ней. — Ради Бога! Перестаньте!

Она замерла и несколько времени в недоумении неотрывно смотрела на меня.

— Вертер, — молвила она затем с улыбкой, обдавшей мою душу жаром знойной пустыни. — Вертер, вы точно больны, если не приемлете даже самых любимых своих яств. Уходите! И успокойтесь, прошу вас!

Я ценою огромных усилий оторвал от нее взор и... Господи! Ты видишь мои страдания и избавишь меня от них!..

6 декабря

Как преследует меня этот образ! Наяву и в сновидениях он переполняет мою душу! Стоит мне сомкнуть веки, как вот здесь, в этом черепе, перед внутренним моим взором, являются ее черные глаза. Здесь! Я не могу это выразить. Закрываю глаза — они тут как тут; словно море, словно бездна зияют они передо мною и заполняют все пространство, все закоулки моего духа.

О, человек, сей хваленый полубог! Ему всегда недостает сил именно там, где он более всего в них нуждается. Взмывая ввысь от счастья или погружаясь в пучину страданий, он всякий раз останавливается и возвращается в трезвое, холодное сознание, именно в тот миг, когда его жажда раствориться в бесконечности достигает своего апогея.

От издателя к читателю

Мне искренне хотелось бы располагать достаточным числом письменных свидетельств о последних достопамятных днях нашего героя, оставленных им самим, чтобы не прерывать череду его писем повествованием от третьего лица.

Я счел своим долгом собрать точные сведения из уст тех, кто мог быть хорошо осведомлен о его истории; она проста, и все рассказы о ней согласуются друг с другом, если не считать нескольких незначительных деталей; расходятся мнения и суждения лишь в той части, которая касается образа мыслей и характеров действующих лиц.

Нам не остается ничего иного, как добросовестно пересказать все, что с немалым трудом удалось нам узнать, и включить в нашу повесть письма, обнаруженные среди вещей покойного, не обойдя вниманием ни единого, даже крохотного листочка, тем более что доискаться настоящих, истинных причин хотя одного деяния, в особенности если речь идет о людях незаурядных, задача чрезвычайно трудная.

Тоска и отвращение к жизни все глубже укоренялись в душе Вертера, все крепче переплетались друг с другом и постепенно совершенно завладели им. От гармонии духа его не осталось и следа, внутреннее же исступление и горячность, от коих все силы его пришли в полное расстройство, оказали на него столь губительное действие, что он в конце концов впал в изнеможение, с которым боролся еще отчаянней, нежели со всеми прежними напастями.

Робость сердца и уныние подтачивали последние его силы, его живость, его острый ум; он сделался скучным, неприятным собеседником, который тем более досаждал всем своею несносностью, чем несчастнее он становился. Во всяком случае, так говорят друзья Альберта; они утверждают между прочим, что Вертер не умел оценить этого чистого сердцем, спокойного человека, обретшего наконец долгожданное счастье, его решимость сохранить это счастье и в будущем, он, человек, который сам безрассудно расточал богатство своей жизни, чтобы на склоне ее бедствовать и страдать. Альберт, по их словам, не изменился с течением времени, остался прежним, таким, каким Вертер знал его с самого начала этой истории, знал, ценил и почитал. Он любил Лотту больше жизни, гордился ею и желал, чтобы и другие видели в ней прелестнейшее создание. Можно ли поэтому ставить ему в вину, что он опасался даже тени подозрения, что он не хотел делить свое бесценное сокровище с кем бы то ни было, даже в самом невинном смысле? Они говорят, что Альберт часто покидал комнату своей жены, застав у нее Вертера, но не из неприязни или, тем паче, ненависти к своему другу, а лишь потому, что того, как ему казалось, тяготило его присутствие.

Лотта поехала к отцу, который занемог и, будучи прикован к постели, прислал за ней свою карету. Стоял чудесный зимний день, первый снег покрыл все вокруг толстым ковром.

Вертер на следующее утро отправился вслед за Лоттой, чтобы проводить ее домой, если Альберт не сможет приехать за нею.

Ясная погода не могла рассеять мрака в его душе, томившейся под уже привычным гнетом тоски; перед внутренним взором его теснились печальные картины, и ум его занят был лишь тем, что переходил от одной болезненной мысли к другой.

Не зная мира в собственной душе, он и в других невольно предполагал лишь противоречия и раздор; ему казалось, что он нарушил доброе согласие меж Альбертом и его супругою, осыпал себя упреками, к которым, однако, примешивалась тайная досада на друга.

По дороге мысли его вновь вернулись к этому предмету.

— Да, да... — говорил он самому себе с скрытою злостью. — Этот дружески-приветливый, ласковый, участливый тон, эта ровная, неколебимая преданность! Пресыщенность и равнодушие — вот что это такое! Любое ничтожное казенное дело дороже ему его драгоценной, ни с кем несравнимой супруги! Разве умеет он ценить свое счастье? Способен ли он почитать ее так, как она того заслуживает? Она принадлежит ему... Да, принадлежит... Я знаю это, как знаю и многое другое... Кажется, я уже привык к сей мысли, и все же она еще сведет меня с ума, она доконает меня! А его дружба ко мне? Выдержала ли она испытание временем? В моей привязанности к Лотте он видит уже лишь посягательство на свои права, а в моем внимании к ней безмолвный упрек! Я знаю, я чувствую: ему неприятно мое общество, мое присутствие тяготит его, он только и ждет того, чтобы я уехал.

Время от времени он замедлял торопливые шаги или даже вовсе останавливался и, казалось, боролся с желанием повернуть назад, но всякий

раз шел дальше и в конце концов, погруженный в своих мыслях и монологах, обращенных к себе самому, и как будто против воли, добрался он до охотничьего замка.

Войдя, справился он о старике и о Лотте; в доме царило тревожное волнение. Старший брат Лотты сообщил ему, что в Вальгейме случилось несчастье: убили какого-то крестьянина! На Вертера новость эта не произвела особого действия. Он вошел в комнату, где Лотта увещевала отца, который пожелал немедленно, не взирая на болезнь, отправиться в Вальгейм, чтобы на месте выяснить обстоятельства происшествия. Имя злоумышленника пока оставалось неизвестно; убитого нашли утром на пороге дома, и уже были сделаны некоторые предположения: покойный служил батраком у одной вдовы, прежний работник которой был отпущен со скандалом.

Услышав это, Вертер в ужасе вскочил.

— Не может быть! — вскричал он. — Я сейчас же, сию минуту иду туда!

Он поспешил в Вальгейм; в душе его ожили воспоминания, и он уже несколько не сомневался, что убийство совершил тот самый человек, с которым он не раз беседовал и который стал ему так дорог.

Проходя под липами и направляясь к трактиру, куда отнесли убитого, он ужаснулся при виде этого прежде столь любимого им места. Порог дома, у которого так часто играли соседние дети, был залит кровью. Любовь и верность, прекраснейшие человеческие чувства, обратились в насилие и убийство. Могучие деревья, по-зимнему нагие, покрыты были инеем, сквозь голые кусты, нависшие над низкой церковной оградой, видны были заснеженные могильные плиты.

Когда он подошел к трактиру, перед которым собралась вся деревня, толпа вдруг разразилась криками. Вдали показались с полдюжины вооруженных мужчин, и все закричали, что ведут убийцу. Вертер лишь взглянул в их сторону, и последние сомнения его рассеялись. Это был тот самый батрак, так любивший свою хозяйку, коего недавно видел он ожесточившимся и близким к отчаянию.

— Что же ты наделал, несчастный! — вскричал Вертер, приблизившись к узнику.

Тот молча смотрел на него несколько мгновений, затем ответил спокойным голосом:

— Она никому не достанется. Никому.

Его ввели в трактир, и Вертер поспешил прочь.

Эта страшная, леденящая кровь встреча все перевернула в нем вверх дном. Она на некоторое время вырвала его из оцепенения тупого равнодушия и покорности судьбе; боль сострадания заглушила в нем все остальные чувства, его обуяла невыразимая жажда спасти этого человека. Он столь глубоко вошел в его положение, столь остро ощущал его несчастье, столь отчетливо видел его невинность даже сквозь совершенное им злодеяние, что полагал возможным убедить в том других. Он уже готов был говорить в

его защиту, пламенные речи просились уже на уста его; по дороге к охотничьему замку он не мог сдержаться и вполголоса произносил все то, что намерен был высказать амтману.

Войдя в комнату и увидев Альберта, он вначале смутился, но тотчас справился с собою и с жаром изложил амтману все доводы, какие только может привести один человек, желая оправдать другого. Тот слушал его, качая головою, и, несмотря на всю живость, страстность и искренность его речей, остался непоколебим в своем мнении. Он даже не дал нашему герою договорить и стал противоречить ему и корить его за то, что он защищает вероломного убийцу. Он указал ему на то, что подобные действия суть посягательство на закон и наносят страшный вред безопасности государства, говорил, что в таком деле не может ничего сделать для злоумышленника, не обременив свою собственную совесть и не злоупотребив возложенной на него властью, что все должно идти своим ходом, согласно заведенному порядку.

Вертер, однако, не отступался и стал просить амтмана проявить великодушие и хотя бы посмотреть на дело сквозь пальцы, если он поможет этому бедолаге бежать! Но амтман отверг и эту просьбу. Альберт, который наконец тоже вмешался в разговор, принял сторону тестя. Вертер, не в силах убедить двух столь непреклонных противников, отклонялся с ужасной болью в груди. В ушах у него стояли слова амтмана, которые тот повторил несколько раз: «Нет, его уже не спасти!»

Насколько сильно поразили его эти слова, можем мы судить по маленькой записке, найденной среди его бумаг и, без сомнения, написанной в тот самый день: «Несчастный, тебя уже не спасти! Я знаю, нас с тобою не спасти!»

То, что Альберт говорил о деле узника в присутствии амтмана, больно отозвалось в душе Вертера: ему показалось, будто слова его направлены были и против него самого, и хотя чем дальше он обо всем этом думал, тем отчетливее видел, что амтман и Альберт правы, он все же не мог избавиться от чувства, что, признав их правоту, согласившись с ними, он отречется от своей собственной сущности.

Среди бумаг Вертера нашли мы также краткую записку, написанную в связи с этим происшествием и, пожалуй, отражающую его отношение к Альберту:

«Какой прок мне в том, что я твержу, как заклинание: он славный и добрый, если мысли о нем раздирают мне душу? Я не могу быть справедлив к нему».

Вечер выдался мягкий, предвещающий оттепель, и потому Лотта отправилась домой вместе с Альбертом пешком. По дороге она временами озиралась вокруг, словно ища глазами Вертера. Альберт вскоре заговорил о нем, принялся осуждать его, тут же, впрочем, находя оправдание его

неправоте. Он упомянул его несчастную страсть и выразил надежду на то, что, может быть, удастся как-нибудь удалить его.

— Я желал бы этого и ради нас с тобой, — сказал он. — Прошу тебя, постарайся изменить характер его отношения к тебе и по возможности сократить его частые визиты. Люди уже обращают на нас внимание; до меня уже дошли некоторые нежелательные разговоры.

Лотта промолчала, и это, судя по всему, задело Альберта; во всяком случае, с того дня он более не касался сей темы в ее присутствии, если же она упоминала Вертера, он деликатно уходил от разговора или переводил его на другой предмет.

Тщетная попытка Вертера спасти несчастного узника стала последней вспышкой его угасающей жизни: он все более погружался во мрак своих страданий и бездеятельности; впрочем, он еще на короткое время оживился, придя в ярость, когда услышал, что его, возможно, попросят свидетельствовать против обвиняемого, который вдруг начал отрицать свою вину.

Все досады и огорчения, выпавшие ему на казенном поприще, прерванная служба при посольстве, все прочие его обиды и неудачи теперь всколыхнулись в его душе и настоятельно напоминали о себе. Все это как бы оправдывало его нынешнюю праздность; он не видел исхода из этого зловещего состояния, остро ощущал свою неспособность к простым житейским делам и, весь во власти своего причудливого образа мыслей и неукротимой страсти, погруженный в унылой монотонности безнадежных и безрадостных встреч с любимой женщиной, тревожа ее покой, расточая без пользы и цели остаток сил, медленно, но неотвратимо приближался к своему трагическому концу.

О смятении, Вертера, о его страданиях, его лихорадочном, болезненном возбуждении, гнавшем его от одной крайности к другой, о его отвращении к жизни, красноречиво свидетельствуют несколько оставшихся после него писем, которые мы приводим ниже.

12 декабря

Дорогой Вильгельм, нынешнее мое состояние должно быть сродни состоянию тех несчастных, о коих прежде говорили, что они одержимы злым духом. Временами на меня что-то находит; это не страх, не тоска — это некое внутреннее, необъяснимое исступление, грозящее разорвать грудь и точно тисками сжимающее горло! О горе мне, горе! И тогда я блуждаю во мраке этих страшных зимних ночей, в бесприютности этой суровой, враждебной человеку поры.

Вчера вечером я не усидел дома. Вдруг началась оттепель, я услышал, что река вышла из берегов, все ручьи вздулись, и паводок уже затопил мою любимую долину близ Вальгейма! Ночью, уже в двенадцатом часу, я бросился на берег! Жуткое зрелище! С высокой скалы я смотрел на кипящие, беснующиеся в лунном сиянии воды, на бурное море, поглотившее поля,

луга, кусты и тяжко зыблющееся в лоне долины под натиском свирепого ветра! И когда луна, поднявшись из черных туч, повисла над ним и озарила зловеще-восхитительным светом это буйство стихии, меня охватил трепет восторга, обожгло внезапной тоской! Ах, я стоял с распростертыми руками над пропастью, жадно впившись взором в бездну! Вниз! Вниз! Я весь растворился в блаженном порыве низвергнуть туда мои муки, мои страдания! Умчаться прочь вместе с волнами! Увы!.. Я не смог оторвать ногу от скалы, не смог положить конец всем мучениям! Час мой еще не пробил, я чувствую это! О, Вильгельм! Я охотно отдал бы свою принадлежность к роду человеческому за то, чтобы вместе с этим штормовым ветром раздирать тучи, яростно терзать воды! Но может быть мне, несчастному узнику, еще выпадет сей счастливый жребий?..

С какую тоской смотрел я сверху на заветное местечко, где мы с Лоттой однажды в жаркий день отдыхали под ивою, утомленные прогулкой! Оно тоже было затоплено, я лишь с трудом узнал иву. Ах, Вильгельм! А ее луга, думал я, окрестности охотничьего замка! «Должно быть, и наша беседка пострадала от паводка!» — подумал я, и светлый луч блеснул мне из прошлого; так пленнику в темнице Бог посылает вдруг в сновидении утешительные картины: луга, пасущиеся стада, чины и награды... Я не браню себя за то, что остался стоять на своей скале: у меня достало бы мужества умереть. Я сумел бы... И вот я вновь сижу здесь, как немощная старуха, собирающая вместо дров щепу с ветхих оград и просящая подаяния, чтобы хоть на день, хоть на миг продлить или облегчить свое безрадостное, уже тронутое дыханием смерти существование.

14 декабря

Друг мой, что же это? Я боюсь самого себя! Разве моя любовь не была всегда благоговеющей, чистой, братской любовью? Разве в груди моей когда-либо, хотя бы раз шевельнулось запретное желание? Впрочем, не стану клясться. И вдруг эти сновидения! Правы были люди, объяснявшие сии противоречивые изъявления духа внушением враждебных сил! Эта ночь! Я — не смею вымолвить это! — держал ее в своих объятиях, крепко прижимая к груди, и покрывал поцелуями ее уста, нежно лепечущие невнятные слова любви; взор мой тонул в бездонном, пьянящем омуте ее глаз! Господи! Моя ли в том вина, что я и теперь испытываю блаженство, самозабвенно воскрешая в памяти эти жгучие радости? Лотта! Лотта! Нет, со мною все кончено! Ум мой мутится, уже неделю живу я словно в бреду, и глаза мои полны слез. Нигде мне ни хорошо, ни плохо. Я ничего не желаю и не требую. Мне лучше было бы уйти вовсе.

Решение покинуть сей мир все более крепло в душе Вертера под влиянием сих обстоятельств. Со дня возвращения к Лотте оно было последней его опорой и надеждой. Однако он сказал себе, что не станет

торопить судьбу, подгонять события, но совершит сей шаг лишь, убедившись в его своевременности, исполнившись спокойствия и твердости духа.

Его сомнения, его внутреннюю борьбу выражает также одна короткая запись без даты, найденная среди его бумаг, которая, вероятно, представляет собою начало недописанного письма к Вильгельму:

«Ее близость, ее судьба, ее сострадание к моей участи высекают последние искры боли из моего выгоревшего дотла сердца. Приподнять завесу и шагнуть за невидимую черту! Это все, что мне остается! Отчего же я медлю и колеблюсь? Оттого что не знаю, что меня ждет за этой чертой? И что возврата уже не будет? И что это одно из свойств нашего духа — предполагать хаос и мрак во всякой неизвестности и неопределенности?»

В конце концов он совершенно свыкся и сроднился с печальной мыслью; принятое им решение было уже бесповоротно, о чем свидетельствует следующее двусмысленное письмо, адресованное его другу:

20 декабря

Благодарю тебя, Вильгельм, за твою любовь, за понимание, с которым принял ты мои слова. Да, ты прав, мне лучше уехать отсюда. Твое предложение вернуться к вам мне не совсем по душе; во всяком случае, я хотел бы прежде совершить одно маленькое путешествие, тем более что вскоре, вероятно, начнутся морозы и подсушат раскисшие дороги. Радует меня и твое намерение приехать за мною; прошу тебя лишь отложить поездку на две недели и дожидаться моего письма. Не будем предвосхищать события и срывать незрелые плоды: всему свое время. А за две недели многое может измениться. Матушке моей скажи, чтобы молилась за своего сына и что я прошу ее простить меня за все причиненные ей огорчения. Видно мне на роду написано огорчать тех, кого я должен был бы радовать. Прощай, бесценный друг мой! Да благословит тебя Господь! Прощай!

То, что происходило в это же время в душе Лотты, что испытывала она к мужу и к своему несчастному другу, мы не решаемся выразить своими словами, хотя, зная ее характер, можем составить себе некоторое представление о том, а тонкая женская душа и вовсе способна проникнуть в глубину ее чувств и мыслей.

Ясно одно: она твердо намерена была сделать все возможное, чтобы удалить Вертера, и если и медлила, то лишь из искреннего сострадания, нежелания причинить ему боль, ибо она знала, чего стоила бы ему сия жертва, и даже опасалась, что он вовсе не в силах будет ее принести. Но обстоятельства требовали от нее решительных действий: муж ее обходил молчанием их отношения с Вертером, поскольку и сама она молчала об этом; тем более важно было для нее делом доказать ему, что она уважает и разделяет его взгляды и помыслы.

Отправив приведенное нами только что письмо к Вильгельму, Вертер в тот же день вечером — это было последнее воскресенье перед Рождеством — пришел к Лотте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, приготовленные ею к празднику для своих братьев и сестер. Вертер заговорил о той радости, которую испытают малыши, вспомнил далекие времена, когда и сам при виде нарядной рождественской ели с горящими свечами, сладями и яблоками, скрытой до поры за заветной дверью, приходил в головокружительный восторг.

— Вы... — начала Лотта, пряча смущение под очаровательной улыбкой. — Вы тоже получите подарок, если станете хорошо вести себя, маленький подсвечник с фигурною свечой и еще кое-что...

— И что же вы называете «хорошо вести себя»? — воскликнул он. — Что мне надобно делать? Каким я должен стать? О, дорогая Лотта!

— В четверг — сочельник, — отвечала она. — К нам придут дети и мой отец, и каждый получит подарок. Приходите же и вы. Но, чур, не раньше!

Вертер смутился.

— Прошу вас! — продолжала она. — Послушайте меня! Хотя бы ради моего покоя. Так нельзя, так больше продолжаться не может.

Он отвел глаза в сторону и принялся взволновано ходить по комнате, бормоча сквозь зубы: «Так нельзя, так больше продолжаться не может!» Лотта, видя ужасное состояние, в которое повергли его эти слова, тщетно пыталась отвлечь его разными вопросами.

— Нет, Лотта! — воскликнул он наконец. — Мы больше не увидимся!

— Отчего же? — спросила она. — Вертер, мы можем, мы должны видеться, но вам надобно умерить свою горячность. О, почему вы родились таким порывистым, таким пылким? Для чего вам досталась в удел эта неукротимая страстность во всем, что бы вы ни делали, чего бы ни касались?.. Прошу вас, — продолжала она, взяв его за руку, — постарайтесь держать себя в руках! Ваш ум, ваши знания, ваши таланты — сколько многообразных радостей сулят они вам! Будьте мужчиной, положите конец этой печальной привязанности к существу, которое не может дать вам ничего, кроме сострадания!

Он, скрипнув зубами, мрачно посмотрел на нее. Она не выпускала его руки.

— Вертер, успокойтесь хотя бы на мгновение! — сказала она. — Разве вы не чувствуете, что обманываете себя, что вы добровольно губите себя? Почему же непременно я, Вертер? Только я, принадлежащая другому? Быть может, именно поэтому? Боюсь... боюсь, что именно невозможность обладания мною и делает меня в ваших глазах столь желанной.

Он отнял свою руку, глядя на Лотту застывшим, сердитым взглядом.

— Мудро! — вскричал он. — Очень мудро! Не Альберту ли принадлежит сие замечательное открытие? Тонко! Очень тонко!

— Такое открытие всякому по плечу, — ответила она. — Но неужели нет на всем белом свете другой девушки, которая могла бы составить ваше

счастье? Стоит вам превозмочь себя и поискать как следует, и, клянусь вам, вы непременно найдете ее! Мне давно уже страшно, за вас и за нас, меня пугает та оторванность от жизни, на которую вы в последнее время сами себя обрекли. Постарайтесь превозмочь себя; какое-нибудь путешествие пошло бы вам теперь на пользу! Отправляйтесь в путь, на поиски иного предмета любви, и возвращайтесь, чтобы мы могли вместе насладиться драгоценным даром истинной дружбы...

— Это следовало бы напечатать и рекомендовать всем гувернерам! — молвил он с холодным смехом. — Милая Лотта! Потерпите еще немного, и все устроится наилучшим образом!

— Но только приходите не раньше сочельника, Вертер!

Он хотел что-то возразить, но тут вошел Альберт. Они обменялись прохладными приветствиями и в смущении стали прохаживаться по комнате. Вертер завел разговор на незначительную тему, которая скоро была исчерпана; Альберт, с своей стороны, столь же безуспешно попытался продолжить беседу, затем обратился к жене с вопросом, исполнила ли та какие-то его поручения, и, получив отрицательный ответ, сказал ей несколько слов, показавшихся Вертеру чересчур холодными и даже суровыми. Он хотел тотчас уйти, но не смог и пробыл до восьми, чувствуя, как разрастается в нем тоска и злость; наконец, уже когда стали накрывать стол, он взялся за шляпу и трость. Альберт предложил ему остаться на ужин, но он, видя в словах хозяина лишь обыкновенное изъяснение вежливости, сухо поблагодарил и ушел.

Воротившись домой, он взял из рук слуги, который хотел посветить ему, подсвечник, один прошел к себе, разрыдался, затем стал метаться по комнате, вслух раздраженно разговаривая сам с собою, и наконец прямо в платье бросился на кровать. Около одиннадцатого часа слуга все же отважился заглянуть к нему, испросил позволения снять с господина сапоги; тот не стал возражать, но запретил ему завтра входить к нему в комнату до тех пор, пока он сам не позовет его.

Утром, в понедельник, двадцать первого декабря, он написал следующее письмо к Лотте, которое после его смерти нашли запечатанным на его письменном столе и доставили ей и которое мы приводим по частям, поскольку и писалось оно с перерывами, как сие явствует из дальнейших обстоятельств:

«Решено, Лотта! Я хочу умереть и пишу тебе об этом без романтического пафоса, в полном спокойствии, утром того дня, в который увижу тебя в последний раз. Еще прежде чем ты прочтешь эти строки, сырая могила навсегда скроет бранные останки того несчастного, не знавшего покоя безумца, для которого в последние минуты его жизни нет более сладостной отрады, чем беседовать с тобой. Я пережил страшную ночь и... Ах, это была вместе с тем благодетельная ночь! Она утвердила мое решение и скрепила его своею нерушимой печатью: я хочу умереть! Когда я вчера оторвался от тебя, на грани умоисступленья, все чувства стеснились в моем

бедном сердце, и безнадежная, безрадостная бытность моя подле тебя вдруг дохнула мне в лицо могильным холодом... Едва переступив порог своей комнаты, я вне себя бросился на колени и... Хвала, Господу! Он даровал мне последнее утешение — сладость горчайших слез! В душе моей бушевал грозный хаос: тысячи намерений и планов неслись, опережая друг друга, пока наконец одна-единственная, твердая, цельная, последняя мысль не вытеснила из сознания все прочие: я хочу умереть! Я лег и уснул, а утром, проснувшись в безмятежном спокойствии духа, нашел ее такую же неколебимой, такую же властной: я хочу умереть! Это не отчаяние, это уверенность в том, что я испил свою чашу до дна и теперь готов пожертвовать собой ради тебя. Да, Лотта! К чему лукавить? Один из нас троих должен уйти, и я хочу, чтобы это был я! О, дорогая моя Лотта! В этом разорванном сердце часто бродило яростное желание убить твоего мужа!.. Убить тебя!.. Себя!.. Да будет так! Поднявшись на гору прекрасным летним вечером, вспомни обо мне, о том, что и я часто хаживал этой долиною и всходил на этот холм; посмотри издали на мою могилу за церковною оградой, где ветер колеблет высокую траву в лучах закатного солнца... Начиная письмо, я был спокоен, теперь же плачу, как дитя, при виде сей живой картины, рисуемой услужливым воображением...»

Около десяти часов Вертер позвал слугу и, одеваясь, объявил ему, что намерен через несколько дней уехать, а потому надлежит ему вычистить его платье и все приготовить к отъезду; распорядился он также принести ему все неоплаченные счета, собрать одолженные им книги и выплатить нескольким беднякам, коим он сделал своею привычкою еженедельно оказывать помощь, причитающееся им денежное пособие за два месяца вперед.

Обед велел он подать в комнату, встав же из-за стола, тотчас поскакал к амтману, но не застал того дома. Погруженный в мрачных раздумьях, ходил он взад-вперед по саду, словно решив напоследок еще раз взвалить на себя тяжкое бремя воспоминаний и тоски.

Дети, узнав о его приезде, выбежали в сад, окружили гостя, зашумели, запрыгали вокруг него, наперебой рассказывая ему, что настанет завтра, еще раз завтра и пройдет еще один день, и тогда они поедут к Лотте и получат там подарки, а потом принялись расписывать Вертеру чудеса, которые сулило им их неискушенное детское воображение.

— Верно! — воскликнул он. — Завтра! Еще раз завтра! И еще один день!

Сердечно расцеловав их всех, он собрался было уходить, но один из малышей пожелал сказать ему что-то на ушко и сообщил шепотом, что старшие братья красиво написали на больших-пребольших листах бумаги новогодние пожелания! Одно для папá, одно для Лотты и Альберта и еще одно для господина Вертера и вручат их утром в первый день нового года. Вертер, с трудом проглотив комок в горле, подарил каждому по монетке, вскочил на коня, велел кланяться папá и поскакал прочь, дав волю слезам.

Воротившись около пяти часов домой, приказал он горничной топить камин до ночи, слуге же велел положить книги и белье на дно дорожного сундука, а платья, зашив в мешок, сверху. После этого он, вероятно, написал следующие строки своего последнего письма к Лотте:

«Ты не ждешь меня! Ты полагаешь, что я буду послушен и увижу тебя лишь в сочельник. О, Лотта! Сегодня или никогда. В сочельник ты с трепетом будешь читать эти строки, орошая бумагу своими драгоценными слезами. Я хочу, я должен! О, как отрадно мне сознание того, что я решился!»

Лотта между тем находилась в необычном расположении чувств. После воскресного объяснения с Вертером она вдруг отчетливо поняла, как тяжело ей будет расставаться с ним, как сам он будет страдать, разлучившись с нею.

Альберт, которому она вскользь сказала, что Вертер не придет до сочельника, уехал верхом по неотложной служебной надобности к одному чиновнику, жившему неподалеку, и намерен был там заночевать.

Оставшись одна, не видя рядом ни мужа, ни братьев и сестер, она предалась невеселым думам о нынешнем ее положении. Умом она понимала, что навеки связана с мужчиной, любовь и верность которого уже имела она возможность оценить, которому и сама предана была всей душой, невозмутимость и надежность которого, словно созданы были самим небом для того, чтобы добродетельная женщина могла основать на них счастье своей жизни; сердцем она чувствовала, что для нее и детей он всегда будет незабываемой опорой. С другой стороны Вертер стал ей так дорог; с первого мгновения их знакомства столь ярко обнаружилось родство их душ, долгая же дружба их, множество общих радостей и печалей оставили в сердце ее неизгладимый след. Все достопримечательные чувства и мысли привыкла она делить с ним, и разлука с ним грозила обернуться для нее невозполнимою утратой. Ах, если б могла она превратить его в своего брата — как счастлива была бы она! Или женить его на одной из своих подруг! Тогда в ней вновь ожила бы надежда на возрождение его прежних отношений с Альбертом!

Она перебрала в памяти всех своих подруг, но в каждой видела какой-нибудь маленький изъян, ни одну из них не нашла достойной его без оговорок.

За этими раздумьями она остро почувствовала, еще не осознав это вполне, что втайне всем сердцем желала бы сохранить его для себя, ни на минуту не забывая, однако, о том, что не может, не смеет сохранить его для себя; чистая, прекрасная душа ее, обыкновенно такая легкая и так легко врачующая самое себя, вдруг ощутила всю тяжесть тоски, всю горечь сознания, что для нее путь к счастью закрыт. Сердце ее горестно заныло, взор заволокло мутным туманом.

Часы пробили половину седьмого, когда она вдруг услышала на лестнице шаги, а затем и голос Вертера, справлявшегося о ней. Как забилось

ее сердце! И мы даже дерзнем предположить, что с таким волнением она никогда еще не встречала Вертера. Она предпочла бы сказаться нездоровой или сделать вид, что ее нет дома, и потому, когда он вошел, в смятении сердито воскликнула:

— Вы не сдержали слова!

— Я ничего не обещал, — ответил он.

— Но вы должны были бы по крайней мере проявить уважение к моей просьбе, — продолжала она. — Я просила вас об этом ради нашего с вами покоя.

Плохо сознавая, что говорит и что делает, она поспешила послать за двумя своими подругами, чтобы не оставаться с Вертером наедине. Он положил на столик несколько книг, которые брал почитать, спросил других взамен прочитанных, она же в душе разрывалась меж двух противоречивых желаний: чтобы подруги поскорее пришли и чтобы они не пришли вовсе. Вскоре горничная воротилась и сообщила, что обе просят извинить их и придти не смогут.

Лотта хотела было усадить девушку с работой в соседней комнате, но передумала. Вертер прохаживался по комнате, она села к фортепьяно, заиграла менуэт, но пальцы не слушались ее. Взяв себя в руки, она непринужденно села к Вертеру, который тем временем уже занял свое излюбленное место на канаве.

— Вам нечего читать? — спросила она и, получив утвердительный ответ, сказала: — В моем столе лежит ваш перевод песен Оссиана³²; я еще не прочла их, все надеялась услышать их из ваших уст, но до сих пор мне не представилось случая просить вас об этом.

Он улыбнулся, достал из ящика рукопись; легкий трепет пробежал по его жилам, когда он взял ее в руки и заглянул в нее, глаза его наполнились слезами. Он сел и стал читать.

«Звезда вечерняя! Прекрасен твой лучистый свет в закатном небе, являешь ты свой лик сияющий из туч, плывешь, полна величия, к своим холмам. Что ищет взор твой на равнине? Утихли ветры бурные; не умолкает лишь потока дальний шум; подножье скал лобзают волны, и насекомых рой жужжит в ночном эфире. Куда стремишь ты призрачный свой свет? Плывешь с улыбкою по водам, объемлют волны радостно твой лик, серебряные волосы лаская. Прощай, невозмутимый луч. Явись, души волшебный светоч Оссиана!

И он является, могуч и ярк. Я вижу друзей моих почивших, они на Лоре собрались, как в дни былые. Фингал, подобный влажному туманному столпу; вокруг него его герои, а вот и барды, поэты песнопений! Седоволосый Уллин! Статный Рино! Альпин, певец пленительный! И ты, Минона томная! О, сколько перемены в вас, друзья мои, с тех праздничных

³² Гете, в свое время увлекавшийся Оссианом, сам выполнил переводы, авторство которых приписывается в романе Вертеру. (Прим. переводчика)

торжеств на Сельме, когда друг с другом состязались мы за первенство в песнотворенье, весенним ветрам подражая, ласкающим дыханьем нежным на горных склонах стебли сонных трав.

И вышла к нам прекрасная Минона, потупив взор; в очах ее блистали слезы, волной тяжелою струились волосы, колеблемые ветром, что реял беспокойно над холмом. И мрак объял сердца героев, едва услышали они ее печальный голос; не раз уж видели они и гроб Сальгара, и скорбное жилище Кольмы белоликой, в тоске сидящей на холме. Сальгар обещал вернуться прежде захода солнца, меж тем на земле владычествует ночь... Внемлите же песне сладкоголосой Кольмы, на холме застывшей в ожиданье.

Кольма

Ночь! Я одна, покинутая всеми, в бурю на холме. Шум ветра оглашает горы. Поток рычит, в ущелье низвергаясь. Нет крова над главою моею, нет от дождя защиты мне, забытой на холме ветров. Явись, луна, из туч, блесните звезды ночи! Пусть бледный луч меня ведет туда, где спит избранник мой, найдя отдохновенье от трудов охоты; у изголовья грозный лук расслабленный и вокруг хозяина псы ловчие в тревожном сне! Я здесь сижу одна, над пенистым потоком. Шум волн и ветра заглушают голос возлюбленного.

Зачем он медлит, мой Сальгар? Быть может, он забыл, что дал мне слово? Вот дерево, а вот утес, поток ревущий! Ты обещал до наступленья тьмы быть здесь. Ах! Где скрылся мой Сальгар? С тобою я готова была бежать, покинуть отца и брата гордых! Давно вражда разъединила твой род и мой, но мы — мы не враги, Сальгар!

Утихни, ветер, хоть на мгновенье! Молчите волны, голос мой пусть разнесется по долине, чтобы услышал меня мой путник. Сальгар! Я здесь, тебя зову я! Вот дерево, а вот утес! Сальгар! Возлюбленный, я жду! Зачем ты медлишь?

Вот месяц выглянул и озарил поток в долине; седые громоздятся скалы, стремясь по склону вверх; но на холме Сальгара я не вижу, и лай собак не возвещает приближенье ночного путника. И я сижу одна.

Но что это? Кого я вижу вдруг в долине? Кто распростерт там на сырой земле? Возлюбленный? Или мой брат? О, говорите же, родные! Молчат... Как страх сдавил мне душу! Они мертвы! Мечи их окровавлены! О, брат мой, брат мой, зачем убил ты моего Сальгара? О, Сальгар, зачем убил ты моего родного брата? Я так любила вас обоих! Ты был прекрасен у холма средь тысяч! Он страшен был на поле брани. Ответьте мне! Откликнитесь на голос мой! Увы, они молчат, уснув навеки! И грудь их холодней земли!

О, с горных круч, грозой объятых, с высот холма скалистого, ответствуйте мне, духи мертвых! Говорите! Не утрашусь! Куда исчезли вы, где упокоились? Где вашу гробовую сень искать под толщей гор? Ни отзвука, ни жалобного стона сквозь шум грозы и ветра свист.

Окаменев от скорби, в слезах жду восхода солнца. Друзья почивших, приготовьте могилу, но оставьте ее отверстой до моего прихода. Как сновиденье, тает жизнь моя; зачем мне быть среди живых? Остаться я желаю здесь, среди этих скал, чтобы мой дух ночами на холме, когда в долине реет ветер, оплакивал бы смерть моих друзей. Охотник в хижине лесной, мой голос услышав, от страха содрогнется, но тотчас же пленится им, ведь сладостен напев мой будет о друзьях, любимых мною беззаветно!

Так пела ты, Минона, дочь Тормана, с румянцем робости девичьей на щеках. Мы молча слезы лили о Кольме бедной, и омрачились наши души.

Уллин с арфою выступил в круг и воскресил в памяти нашей Альпина песнь. Приятен был для слуха нашего Альпина голос, душа же Рино подобна была огненному лучу. Но оба они упокоились в тесном жилище, и голоса их навек отзвучали в Сельме. Однажды Уллин, вернувшись с охоты, когда герои еще были живы, услышал, как состязаются они на холме в песнопенье. Их напевы были нежны, но полны печали. Они оплакивали гибель Морара, первого среди героев. Душа его была как душа Фингала, меч — как меч Оскара, но он пал, и отец его восскорбел, и очи сестры его наполнились слезами, очи Миноны, сестры могучего Морара, наполнились слезами.

Едва зазвучала песнь Уллина, Минона тотчас удалилась, как месяц спешит удалиться за тучу, чтоб прекрасное скрыть в ней чело от жестокой грозы. Я, вторя песне печали, вместе с Уллином ударил по струнам.

Рино

Утихли ветер и дождь, яркий сияет полдень, рассеялись тучи. Изменчивое солнце озаряет холм мимолетными лучами. Румяный поток бежит с горных круч в долину. Сладок твой лепет, поток; но слаще голос, которому внемлю. То Альпина голос, то плач об умершем. Глава его клонится долу под бременем лет, и красны его очи, полные слез. Альпин, славный певец, зачем ты один здесь, на объятom молчаньем холме? Отчего так печален твой голос и так безутешен, как ветра порыв в чаще лесной, как волна на далеком пустом берегу?

Альпин

Плач мой, Рино, обращен к мертвым, глас мой взывает к сущим во гробе. Статен и величав ты, стоящий на холме, прекрасен среди сынов равнины. Но смерть настигнет тебя, как Морара, и могила твоя оросится слезами. Холмы забудут тебя, спущенный лук твой праздно будет лежать во мраке пещеры.

Ты резв был, о, Морар, как лань на холме, и страшен, как зарево в небе ночном. Гнев твой был бурей, а меч твой в сраженье сверкал, как молнии над темной долиной. Голос твой грозному рыку лесного потока подобен был после дождя, грома раскатам на дальних холмах. Многих сразила десница

твоя, многих пожрал огонь твоей ярости. Когда же возвращался ты из ратных походов, как мирно сияло чело твое! Лик твой подобился солнцу после грозы, сходствовал с месяцем ясным тихою ночью, грудь же дышала покоем, как воды в безветренный полдень.

Тесно ныне жилище твое, мрачна смертная сень! Трех шагов мне довольно измерить могилу того, кто некогда был так велик! Четыре поросших мхом камня суть памятник твой; облетевшее древо среди высокой травы, колеблемой ветром, указуют охотнику могилу могучего Морара. Ни матери нет у тебя, чтоб оплакала сына, ни любящей девы, чтоб рыдать над тобою. Нет в живых родившей тебя, погибла дочь Морглана.

Кто там склонился на посох свой старческий? Чья то седая глава, чьи от слез покрасневшие очи? Это отец твой, о Морар, отец единого сына. Он слышал о подвиге ратном твоём, о врагах, обратившихся в бегство; он слышал о славе твоей! Лишь о ране не слышал смертельной! Плачь, отец Морара, плачь! Но твой сын не услышит тебя. Крепок сон мертвых, прах им служит подушкой. Голос твой его не коснется слуха, не проснется он на твой зов никогда. О, неужель никогда не блеснет в могиле десница и не скажет герою: «восстань!»?

Прощай, благороднейший из смертных, непобедимый ратник! Никогда не увидишь ты поле, никогда темный лес не озарится блеском твоего меча. Ты не оставил сына, но имя твое сохранится в песнях, весть о тебе дойдет до грядущих веков, и услышат они о Мораре, сложившем голову в битве.

Громки были стенанья героев, громче же всех Армина тяжкие стоны. Он припомнил смерть сына, павшего юношей. Кармор, шумного Галмала вождь, сидевший подле героя, промолвил:

— Отчего же так горьки рыдания Армина? Что тут плакать? Не для того ли песни звучат, чтобы радовать и услаждать нашу душу? Они словно нежный туман, встающий над гладью озерной и текущий в долину, чтоб напоить живительной влагой цветы; солнце взойдет, откроет ярое око, — и растает туман без следа. Зачем ты так безутешен, Армин, владыка омытой водами Гормы?

— Безутешен? Что ж, это так, велика моя скорбь. Кармор, ты не терял сына, не лишился цветущей дочери; жив храбрый Колгар, жива Аннира, прекраснейшая из дев. Ветви дома твоего цветут, о Кармор; Армин же был последним из нашего рода. Мрачно ложе твое, о Даура! Тяжек сон твой в могиле! Когда пробудишься ты и воспоешь свои сладкозвучные песни? Вейте, осенние ветры! Бушуйте над темной равниной! Шумите, лесные потоки! Сотрясайте, вихри, верхушки дубов! Лети сквозь рваные тучи, о месяц, являя в разрывах бледный свой лик! Воскреси в моей памяти страшную ночь, когда пали дети мои, навеки ушли могучий Ариндал и кроткая Даура.

О, Даура, дочь моя, ты прекрасна была, хороша, как луна над холмами Фуры, бела, как снег молодой, свежа и чиста, как горный воздух! Ариндал,

крепок был лук твой, неотвратимо копье, взор твой мерцал серебром, как туман над волнами, щит твой горел, словно огненный шар!

Армар, прославившись в битвах, пришел, чтоб снискать любовь Дауры; недолго противилось сердце красавицы, друзья их уже предрекали им счастье.

Но Эрат, сын Одгала, гневом дышал: Армар сразил его брата. Он пришел, приняв вид морехода. Статен был челн его, качавшийся на волнах, серебристые кудри обрамляли суровое чело его.

— Прекрасная дева, — он молвил, — Армина славная дочь, там, на скале, недалече от берега, в море, где зрелый плод алеет на древе, ждет свою Дауру Армар; он прислал меня, чтобы я доставил его возлюбленную на остров.

Она поплыла с ним по зыбкому морю и, на берег скалистый ступив, стала звать Армара, но ответом ей было лишь гулкое эхо.

— Армар! Любовь моя! Мой возлюбленный! Зачем ты пугаешь меня? Где ты, сын Арднарта? Слышишь ли зов мой? Это Даура кличет тебя!

Эрат коварный со смехом направил к берегу челн свой. Она же, возвысила голос, громко звала отца и брата:

— Ариндал! Армин! Кто же спасет бедную Дауру?

Голос ее достиг суши. Ариндал, сын мой, спустился с холма, разгоряченный охотой, в окруженье пяти темно-серых псов; стрелы его звенели в колчане, лук свой нес он в руке. Увидев дерзкого Эрата на берегу, он схватил его и привязал к дубу; больно впилась веревка в плоть пленника, вырвав жалобный стон из груди его.

Ариндал отплыл от берега в своем челне, желая спасти Дауру. Армар, ослепленный гневом, пустил стрелу свою в оперенье сером; тонко запела она и через миг вонзилась в сердце твое, о, Ариндал, сын мой! Умер ты вместо изменника Эрата. Челн твой волны пригнали к острову, ты рухнул наземь и испустил дух. О, Даура, у ног твоих струилась кровь брата! Волны разбили челн о камни. Армар бросился в море, полон решимости спасти свою Дауру или погибнуть. Порыв ветра с холма вздул свирепо прибрежные волны, и пловец навек исчез под водой.

Я один слышал жалобы моей дочери, стоя на скале, средь кипящих волн. Громки и неумолчны были крики ее, но отец не мог ей помочь. Всю ночь простоял я на берегу; я видел ее в бледном свете луны, слышал крики ее сквозь вой ветра, дождь свирепо хлестал склоны горы. Голос ее все слабел, и утром умолк, как умолкает ветер вечерний в траве среди скал. В страхе и боли умерла она, оставив отца одного! Пал мой защитник надежный, увял мой прекрасный цветок, гордость моя и отрада.

И теперь, когда буря объемлет скалы, когда северный ветер вздымает волны, я на гулком сижусь берегу, неотрывно глядя на страшный остров. Часто вижу я в свете ущербной луны, как шествуют духи детей моих вдали печальной четой»...

Чтение Вертера было прервано бурным потоком слез, внезапно хлынувшим из глаз Лотты. Он бросил рукопись, схватил ее руку и сам разразился горчайшими слезами. Лотта, уронив голову на свободную руку, закрыла лицо носовым платком. Оба были охвачены чудовищным волнением. В судьбе благородных героев Оссиана они узнали свою собственную муку, ощутили ее вместе, и слезы их слились. Губы и слезы Вертера жгли руку Лотты; трепет пробежал по ее жилам, и она попыталась отстраниться, но боль и сострадание наполнили члены ее свинцовой тяжестью. Глубоко дыша, чтобы поскорее оправиться от потрясения, она сквозь слезы взмолилась, прося его продолжить чтение! Вертер весь дрожал, сердце его грозило разорваться на части; он вновь взял в руки брошенную страницу и стал читать скованным голосом:

«Зачем ты будишь меня, весна? Ты ласково веешь в лицо мне и шепчешь: „Я окроплю тебя влагой небесною!“ Но пора моего увяданья близка, близок вихрь, что сорвет мои листья! Завтра странник придет, знавший честь и славу мою, и взор его будет искать меня в поле, но не найдет...»

Страшный смысл этих слов обрушился на несчастного всею своею мощью. Он в отчаянии бросился к ногам Лотты, схватил ее руки, прижал их к своим глазам, и в душе ее, вероятно, шевельнулось предчувствие его чудовищного плана. Разум ее помутился, она в свою очередь стиснула его ладони, прижала их к своей груди, в внезапном порыве тоски склонилась к нему, и их пылающие щеки соприкоснулись. Они на миг позабыли обо всем на свете. Он заключил ее в свои объятия и стал осыпать ее дрожащие, невнятно лепечущие губы яростными поцелуями.

— Вертер!.. — вскричала она сдавленным голосом, отворотившись от него. — Вертер! — Слабой рукой она отстранила его от себя. — Вертер! — повторила она твердым тоном благородного негодования.

Он не противился, выпустил ее из объятий и, совершенно потеряв рассудок, пал перед нею на колени. Она в смятении и растерянности поднялась и, разрываясь меж любовью и гневом, сказала:

— Это было в первый и последний раз! Вертер! Вы больше не увидите меня.

Оторвав от несчастного взгляд, исполненный любви, она стремительно вышла в соседнюю комнату и заперлась на ключ.

Вертер протянул ей вслед руку, но не решился удержать ее; на коленях, уронив голову на канапе, он оставался недвижим около получаса, пока его не вернул в чувство какой-то звук. То была горничная, которая пришла накрыть стол для ужина. Он походил по комнате взад-вперед, и когда девушка ушла, приблизился к запертой двери кабинета и тихо позвал:

— Лотта! Лотта! Еще одно слово! Последнее прости!

Она молчала. Он ждал, вновь просил и вновь ждал; наконец решительно бросился прочь, крикнув:

— Прощай, Лотта! Прощай навсегда!

Он пришел к городским воротам. Сторожа, уже знавшие его, молча выпустили его. Он бродил, не разбирая дороги, под мокрым снегом и лишь около одиннадцати часов вновь постучал в ворота. Когда он вернулся домой, слуга его заметил, что господин потерял или забыл где-то шляпу, но не решился сказать ему об этом. Он раздел его; платье Вертера промокло насквозь. Шляпу его позже нашли на скале, торчащей из склона холма, высоко над долиной; как он сумел темной, ненастной ночью подняться на нее, не сорвавшись в пропасть, до сих пор остается загадкой.

Вертер лег в постель и крепко уснул. Слуга, принесший утром на его зов кофе, застал его за письменным столом. Мы приводим здесь фрагмент письма к Лотте, который он написал в эти минуты:

«Итак, в последний раз — в последний раз я открыл сегодня глаза навстречу новому дню. Солнца мне уже не увидеть: его скрыл хмурый, туманный день. Что ж, скорби, природа! Твой сын, твой друг, твой баловень приблизился к роковой черте. Лотта! Это ни с чем несравнимое чувство; сказать себе: «вот наступило твое последнее утро» — это похоже разве что на смутный, призрачный сон. Последнее! Лотта, я не могу постигнуть смысл этого слова: последнее! Ведь я жив и полон сил, а завтра буду распростерт на земле, недвижим и холоден. Что это означает — умереть? Все наши разговоры о смерти суть лишь фантазии. Мне не раз доводилось видеть, как умирают люди; но как же ограничен человек! Ему неведом смысл начала и конца его бытия. Пока еще моего, твоего... Твоего, о любимая! А через миг — отрезан, отлучен!.. И может статься, навеки? Нет, Лотта, нет, как я могу исчезнуть? Как можешь исчезнуть ты? Мы, ныне сущие?.. Исчезнуть! Что это значит? Это опять всего лишь слово, пустой звук, который не приемлет мое сердце... Умер, Лотта!.. Зарыт в сырой земле! Как тесно, как темно!.. У меня была подруга, единственное, бесценное достояние моей бедной юности; она умерла, я проводил ее в последний путь и, застыв у края могилы, смотрел, как опускают гроб, как с шорохом вытаскивают из-под него веревки и поднимают их наверх, слушал, как стучат в крышку гроба комья земли, сначала кощунственно гулко, затем все глуше и глуше, пока совершенно не скрыли от глаз страшный ящик! Я бросился наземь, потрясенный, испуганный; душа моя была одна кровавая рана, но я не помнил себя, не сознавал, что произошло, не понимал, что это однажды случится и со мною... Смерть! Могила! Мне непонятны эти слова!

О, прости меня! Прости! Я должен был умереть еще вчера, в тот самый миг!.. О, ангел! В первый раз, в первый раз душу мою, все существо мое обожгло чистое, не отравленное сомнениями сладостно-пьянящее чувство: она любит меня! Она любит меня! На губах моих еще горит священный огонь, родившийся от прикосновения к твоим устам, сердце мое согрето новым, неведомым доселе блаженством. Прости меня! Прости меня!

Ах, я знал, что ты любишь меня, я понял это по первому теплему, глубокому взгляду, по первому рукопожатию, но всякий раз, расставаясь с

тобою или видя подле тебя Альберта, я вновь предавался малодушию и мучительным сомнениям.

Ты помнишь цветы, которые ты прислала мне после того злополучного приема, на котором ты не смогла сказать мне ни слова, не посмела протянуть мне руки? О, я полночи простоял перед ними на коленях, они стали для меня печатью твоей любви. Увы, те впечатления миновались, подобно тому как постепенно изглаживается из души верующего сознание богосыновности и ощущение милости Божьей, которую небеса щедро являли ему прежде в виде священных, зримых знамений.

Все проходит, но никакая вечность не смеет погасить этот живой огонь, который я вчера пил из твоих уст, который я чувствую в себе! Она любит меня! Эта рука обнимала ее, эти губы с трепетом касались ее уст, это дыхание перемешивалось с ее дыханием. Она моя! Ты моя! Да, Лотта, ты моя навеки!

Что с того, что Альберт твой муж? Муж! Это понятие для мира сего, а для мира сего любовь моя к тебе, желание мое вырвать тебя из его рук есть грех. Грех? Что ж, я сам себя покараю; я испил сию чашу, чашу греха до дна, сполна насладился этим небесным блаженством, напоил и укрепил свое сердце живительным бальзамом. С этой минуты ты моя! Моя, о Лотта! Я уйду первым! Я иду к своему отцу — твоему отцу! Я поведаю ему о своих страданиях, и он утешит меня, даст мне силы дожидаться тебя, и я полечу тебе навстречу и заключу тебя в вечные объятия перед лицом Бесконечного.

Это не грезы, не пустые мечты! Чем ближе к могиле, тем ясней мой рассудок. Мы пребудем вовеки! Мы увидимся вновь! Увидим твою матушку! Я увижу ее первым, найду ее и изолью ей душу! Ведь это твоя матушка, твой образ и подобие...»

Около одиннадцати часов Вертер спросил своего слугу, не вернулся ли Альберт. Тот ответил: да, он видел, как вели под уздцы его лошадь. Тогда господин его дал ему незапечатанную коротенькую записку следующего содержания:

«Не одолжите ли Вы мне Ваши пистолеты для одного предстоящего мне путешествия? Прощайте! Не поминайте лихом!»

Лотта в ту ночь почти не спала; развязка, которой ждала она со страхом, наступила, наступила столь неожиданно и оказалась столь чудовищной, что ничего подобного она и предположить не могла. Ее прежде такая чистая и безмятежная душа содрогалась от ужаса, а бедное сердце разрывалось от тысячи разнороднейших чувств. Что же это было? Огонь вертеровых объятий, все еще горевший в ее груди? Возмущение его дерзостью? Горестное сравнение ее нынешнего состояния с той непосредственной, простодушной невинностью и беспечной верой в себя, которые вдруг покинули ее? Как встретит она своего мужа? Как расскажет ему о происшествии, в коем не было ее вины, но о коем она все же не могла

вспоминать без укоров совести? Они так долго молчали; как же ей теперь отважиться первой нарушить это молчание и в столь недобрый час поразить супруга столь неожиданной исповедью? Она опасалась, что одно уже упоминание о неурочном визите Вертера произведет в нем тягостное чувство, а тут еще это несчастье! Могла ли она надеяться, что муж увидит все нелицеприятным, незамутненным предвзятостью оком? Смела ли желать, чтобы он попытался прочесть обо всем в ее душе? С другой стороны, могла ли она лукавить перед лицом человека, перед которым душа ее прежде всегда была открыта и чиста, как хрустальный сосуд, и от которого никогда не хотела и не могла она утаить ни единого из своих чувств?

Все это смущало и тревожило ее; мысли ее вновь и вновь возвращались к Вертеру, который был для нее потерян, с чем никак не могла она смириться, которого она, увы, принуждена была предоставить его собственной судьбе, и который, потеряв ее, потерял все.

Едва осознаваемое ею самую отчуждение, возникшее меж нею и ее мужем, тяжким бременем лежало на ее сердце. Они, оба столь разумные, столь благородные люди, из-за скрытого разлада, вызванного известными противоречиями, спрятались друг от друга в молчание; каждый все более уверял себя в своей правоте и в неправоте другого, и отношения их настолько усложнились и запутались, что развязать роковой узел именно в тот решающий миг, от коего все зависело, стало уже невозможным. Если бы счастливый случай вовремя подтолкнул их друг к другу в порыве внезапной откровенности, если бы любовь и взаимная снисходительность победили все недоразумения и открыли их сердца, тогда, возможно, нашего друга еще можно было бы спасти.

Следует упомянуть еще одно важное обстоятельство. Как явствует из писем Вертера, он никогда не скрывал своего видимо растущего желания покинуть сей мир. Альберт часто спорил с ним по этому поводу; не раз обсуждал он это и с Лоттой. Будучи непримиримым противником самоубийства, Альберт, впрочем, часто с несвойственным ему раздражением давал понять, что имеет основания сомневаться в серьезности намерения Вертера исполнить свое желание и даже позволял себе на сей счет некоторую иронию; его неверие в реальность угрозы сообщилось и Лотте. С одной стороны это успокоивало ее, когда мысли ее обращались к сей мрачной перспективе, с другой же это тоже мешало ей поделиться с мужем своими опасениями, в последнее время все более мучившими ее.

Альберт вернулся домой, и Лотта с неловкой торопливостью, происшедшей от смущения, вышла ему навстречу. Он был невесел, дело, по которому ездил он к упомянутому чиновнику, осталось неразрешенным, так как тот оказался мелочным педантом и упрямым. Плохая дорога усугубила его досаду.

Он спросил, нет ли новостей, и она поспешно ответила, что вчера вечером приходил Вертер. Осведомившись, была ли почта, он получил ответ, что на столе у него в комнате лежит письмо и несколько пакетов, и отправился к себе; Лотта осталась одна. Присутствие мужа, коего она любила

и уважала, привело ее в иное расположение духа. Мысль о его благородстве, о его любви и доброте успокоила ее, ей захотелось быть рядом с ним. Следуя уже давно усвоенной привычке, она взяла свое рукоделье и поднялась в его комнату. Альберт, занятый почтою, распечатывал один за другим пакеты и читал присланные бумаги. Судя по выражению лица его, некоторые из них заключали не самые приятные известия. Она сделала ему несколько вопросов, он коротко ответил на них и, встав к конторке, принялся что-то писать.

Так в молчании провели они друг подле друга около часа, и на сердце Лотты вновь легла прежняя тяжесть. Она чувствовала, что ей едва ли достало бы сил раскрыть душу перед мужем, даже если бы он вернулся в прекрасном настроении; она впала в тоску, тем сильнее теснившую ей грудь, чем усерднее она пыталась скрыть ее и проглотить комок слез.

Появление слуги Вертера привело ее в величайшее смятение. Юноша протянул Альберту записку своего господина, и тот, повернувшись к жене, невозмутимо произнес:

— Дай ему пистолеты. Передай господину, что я желаю ему счастливого пути, — прибавил он, обращаясь к слуге.

Словно пораженная громом, Лотта, не помня себя, с трудом поднялась, медленно подошла к стене, дрожащими руками сняла пистолеты, смахнула с них пыль, но медлила отдавать их слуге и, вероятно, простояла бы так еще некоторое время, если бы не вопросительный взгляд Альберта. Не в силах вымолвить ни слова, молча протянула она юноше зловещие орудия, а когда тот вышел из дома, она, сложив свое рукоделье, в невыразимой тревоге отправилась в свою комнату. Воображение рисовало ей самые страшные картины. Временами порывалась она броситься к ногам мужа, поведать ему обо всем, о том, что произошло вчера вечером, о своей вине и о своих предчувствиях. Но всякий раз ее останавливало горькое сознание бесполезности каких бы то ни было объяснений; меньше всего надеялась она уговорить мужа отправиться к Вертеру. Между тем подали обед; подруга, которая заглянула на минутку с каким-то вопросом и уже собиралась уходить, но так и не ушла, немного оживила беседу за столом: супруги изо всех сил старались поддерживать разговор, вести себя непринужденно и хотя на несколько минут забыть о том, что их тяготило.

Слуга воротился с пистолетами к Вертеру, тот, услышав, что их вручила ему сама Лотта, с восторгом принял их из его рук. Велев затем подать себе вина и хлеба и отослав слугу обедать, он сел за стол и продолжил писать неотправленное письмо.

«Ты держала их в своих руках, ты стерла с них пыль, и я целую их как безумный, ибо к ним прикасалась ты! О, небеса, вы благоприятствуете мне в исполнении моего решения, а ты, Лотта, сама вручила мне орудие смерти, ты, из чьих рук я желал бы принять — и приму — смерть! О, как жадно я расспрашивал своего слугу! Он говорит, что ты дрожала, протягивая ему пистолеты, что ты даже не сказала мне прощального слова! Увы мне! Увы!

Ни слова на прощание! Неужто ты закрыла для меня свое сердце? Из-за того заветного мгновенья, навеки связавшего меня с тобою? Лотта, никакие тысячелетия не изгладят в моей душе эту радость! И я чувствую: ты не можешь ненавидеть того, кто так горит тобою!»

После обеда он приказал слуге упаковать вещи, порвал много бумаг, затем отправился в город и оплатил последние счета. Вернувшись домой, он вскоре, не взирая на дождь, вновь отправился к городским воротам, прошел в графский парк, долго бродил по окрестностям, воротился назад вечером и взялся за перо.

«Вильгельм, я нынче в последний раз видел поле, лес и небо. Прощай же и ты! Дорогая матушка, простите меня! Утешь ее, Вильгельм! Да благословит вас Бог! Все мои дела улажены. Прощайте! Мы еще увидимся, и встреча наша будет радостной».

«Я отплатил тебе злом за твою доброту, Альберт. Прости меня. Я нарушил мир твоего дома, я посеял меж вами недоверие. Прощай! Я положу этому конец. Ах, если бы моя смерть могла сделать вас счастливее! Альберт! Альберт! Дай этому ангелу счастье! И да пребудет благословение Господне над тобой!

Вечером он долго перебирал бумаги, многие порвал и бросил в печь, остальное сложил в несколько пакетов и запечатал, адресовав их на имя Вильгельма. То были краткие заметки и разрозненные мысли, из коих некоторые нам довелось видеть. В десять часов, велев подбросить дров в камин и принести бутылку вина, он отпустил слугу, каморка которого, как и хозяйские комнаты, находилась на заднем дворе и который лег спать, не раздеваясь, дабы утром быть наготове, так как господин его сказал, что почтовые лошади поданы будут к шести часам.

«После одиннадцати

Все так тихо вокруг, и душа моя так покойна. Благодарю Тебя, Господи, что в эти последние минуты Ты даровал мне тепло и силы.

Дорогая! Я подхожу к окну и вижу сквозь стремительно летящие мимо тучи мерцание редких звезд на этом вечном небосклоне! Нет, вы не упадете! Предвечный Бог надежно хранит вас в Своем лоне, как и меня. Я вижу звезды Большой Медведицы, любимейшего моего созвездия. Вечерами, когда я уходил от тебя, оно горело над твоими воротами. В каком упоении смотрел я на него, порою с воздетыми к небу руками, словно перед священным алтарем моей звенящей от блаженства души! О, Лотта, мне все напоминает о тебе! Ты объемлешь меня, точно свет! Я, как дитя, жадно хватал даже самые незначительные вещи, которые ты освятила своим прикосновением!

Милый силуэт на стене! Я завещаю его тебе, Лотта, и прошу тебя хранить его как талисман. Сколько поцелуев напечатлел я на него, сколько раз приветственно махал ему рукой, уходя из дома или возвращаясь назад. В коротенькой записке я просил твоего отца позаботиться о моих бранных останках. На церковном кладбище, в дальнем углу, у самой ограды стоят две липы; там я желал бы обрести последний свой приют. Он не откажет мне, он исполнит просьбу своего друга. Попроси и ты его об этом. Я, бедный, несчастный грешник, не хочу смущать благочестивых христиан своим кощунственным соседством. Ах, как бы мне хотелось быть погребенным вами при дороге или где-нибудь в уединенном месте долины, чтобы священник и левит, благословясь, прошли мимо надгробного камня, самарянин же обронил слезу сострадания³³.

Пора, Лотта! Без трепета беру я в руки холодную, страшную чашу, которая прольет мне в грудь хмельное забытие смерти! Ты сама наполнила ее для меня, и я не стану медлить. До дна! До капли! Вот как исполнились все надежды и чаяния моей жизни! Холоден и бесстрастен стучусь я в железные врата смерти.

О, если б я удостоился счастья умереть за тебя, Лотта! Принести себя в жертву за тебя! Я охотно, с радостью умер бы, если бы мог вернуть тебе покой и сладость жизни. Пролить свою кровь за любимых и друзей и своей смертью возжечь для них пламень новой, многократной жизни — такой жребий выпал лишь немногим избранным.

Я хочу, чтобы меня похоронили в этом платье, освященном прикосновениями твоих рук; о том же просил я и твоего отца. Душа моя воспарит над гробом. Содержимое моих карманов пусть останется неприкосновенным. Этот розовый бант, который был на твоей груди, когда я впервые увидел тебя в окружении малышей... — о, расцелуй их за меня и расскажи им о печальной участи их несчастного друга. Милые мои! Они и сейчас обступили меня веселою толпой. О, как я сроднился с тобою с первой же минуты! И уже не в силах был расстаться с тобой!.. Этот бант я хочу унести с собою в могилу. Ты подарила мне его в день моего рождения! Как я упивался этими радостями!.. Не думал я, что мой путь приведет меня сюда!..

Не плачь! Прошу тебя, не плачь!

Они заряжены... Часы бьют полночь! Что ж... Лотта! Лотта! Прощай! Прощай!»

Сосед увидел вспышку пороха и услышал выстрел, но так как все тут же стихло, он не придавал сему происшествию особого значения.

Утром, в шесть часов, слуга вошел со свечой в комнату Вертера и нашел господина лежащим на полу, увидел пистолет и кровь. Он стал звать и трясти его, но ответом ему было лишь слабое хрипение. Он бросился за доктором, побежал к Альберту. Лотта услышала дверной колоколец и задрожала всем телом. Она разбудила мужа, они спустились вниз, слуга,

³³ См. Евангелие от Луки, 10, 30-35. (Прим. переводчика)

всхлипывая и запинаясь, сообщил им ужасную новость; Лотта без чувств упала к ногам Альберта.

Доктор, явившись на место трагедии, тотчас понял, что спасти несчастного, все еще лежавшего на полу, невозможно. Пульс его еще бился, но все члены были парализованы. Он прострелил себе голову; пуля, войдя в лоб чуть выше правой брови, вышибла часть мозга. Ему отворили жилу на руке, кровь заструилась; умирающий еще дышал.

По крови на подлокотнике кресла можно было заключить, что он произвел выстрел, сидя за письменным столом, соскользнул на пол и долго бился в судорогах. Теперь он лежал на спине головой к окну, в синем фраке с желтым жилетом и в сапогах.

Весь дом, вся улица, весь город пришли в волнение. Приехал Альберт. Вертера тем временем уложили на кровать, перевязали ему лоб; лицо его уже мало чем отличалось от лика покойника, тело было неподвижно. Легкие все еще издавали ужасный хрип, то слабеющий, то усиливающийся; смерть должна была наступить с минуты на минуту.

Вина выпил он не много, о чем говорила едва початая бутылка. На поставце для письма лежала раскрытая книга — «Эмилия Галотти»³⁴.

Потрясение Альберта и горе Лотты мы позволим себе обойти молчанием.

Старый амтман, узнав о случившемся, тотчас верхом примчался к дому Вертера, бросился к своему юному другу и стал целовать его, обливаясь горькими слезами. Вскоре пришли пешком старшие сыновья его; стоя на коленях перед кроватью с выражением безутешного горя, они тоже целовали руки Вертера, его губы; старшего же из них, его любимца, силою оторвали от него лишь, когда он скончался. Он умер в полдень. Благодаря присутствию амтмана и принятым им мерам, всеобщее волнение постепенно улеглось. По его распоряжению около одиннадцати часов ночи Вертера похоронили на избранном им самим месте. В последний путь его провожал лишь старик с сыновьями. Альберт не мог присутствовать на погребении: жизнь Лотты была в опасности. Гроб несли мастеровые. Священника во главе траурной процессии не было.

³⁴ Трагедия «Эмилия Галотти» немецкого писателя XVIII века Г. Е. Лессинга. (Прим. переводчика)